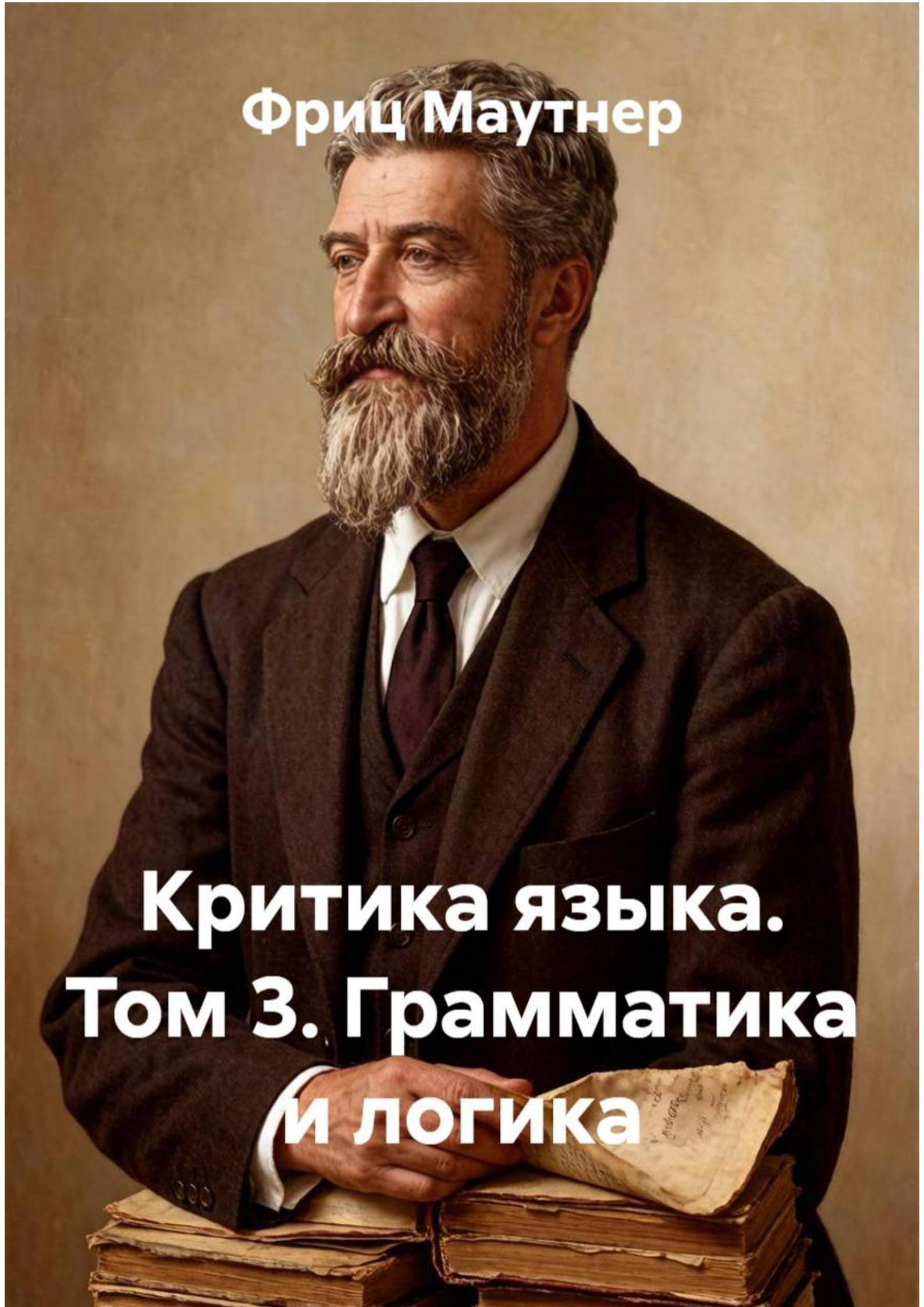
Фриц Маутнер



Критика языка. Том 3. Грамматика и логика

Фриц Маутнер

Критика языка. Том 3. Грамматика и логика

«Автор»
2026

Маутнер Ф.

Критика языка. Том 3. Грамматика и логика / Ф. Маутнер — «Автор», 2026

Третий том «Критики языка» Фрица Маутнера (1901–1902) — один из ключевых текстов европейского языкового скептицизма. Маутнер доказывает, что логика не отражает структуру действительности, а представляет собой замаскированную грамматику: категории Аристотеля почерпнуты из частей речи греческого языка, а не из природы вещей. Разбирая существительное, прилагательное, глагол, падежи, род, число и времена, автор показывает их неопределённость, историческую случайность и отсутствие соответствий в мире. Язык для Маутнера — несовершенное средство ориентации в «мире воспоминаний», а не факсимиле действительности. Книга стоит у истоков философии языка Витгенштейна и лингвистической относительности, оказала влияние на литературу языкового кризиса начала XX века. Издание адресовано философам, лингвистам, историкам культуры и всем, кто интересуется проблемами языка и познания.

© Маутнер Ф., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Введение 5
Грамматика. 7
I. Неопределённость грамматического смысла. 7
II. Глагол 32
III. Существительное 45
IV. Прилагательное 50
V. Наречия. — Пространство и время. 54
VI. Имя числительное 68
Конец ознакомительного фрагмента. 79

Критика языка. Том 3. Грамматика и логика

Введение

Предлагаемая вниманию читателя книга — третий том капитального труда Фрица Маутнера «Критика языка» (Beiträge zu einer Kritik der Sprache), озаглавленный «Грамматика и логика». Первое издание трёхтомника вышло в 1901–1902 годах; третий том неоднократно переиздавался, в том числе в 1913 году в штутгартском издательстве Cotta. Это сочинение — один из ключевых документов европейского «языкового скептицизма» рубежа XIX–XX веков, и его значение выходит далеко за пределы собственно лингвистики.

Что это за книга. Формально третий том посвящён отношению грамматики и логики. Однако Маутнер не пишет учебник и не строит систему. Его задача — разрушить убеждение, будто логические категории отражают структуру действительности. Логика, по Маутнеру, есть не что иное, как «рассмотрение греческой грамматики с интересной точки зрения»: категории Аристотеля почерпнуты из частей речи греческого языка, а не из природы вещей. Если бы Аристотель говорил по-китайски, логика была бы совершенно иной. Отсюда центральный тезис тома: не грамматика должна сообразовываться с логикой, а логика есть замаскированная грамматика. Разбирая по очереди существительное, прилагательное, глагол, падежи, род, число и времена, Маутнер показывает, что все эти «категории» неопределённы, исторически случайны и не имеют соответствий в мире действительности. Родительный падеж — «девочка на все руки», выражающая любое отношение; род существительных — «одно из самых пошлых и глупых изобретений языкового духа»; временны́х форм меньше, чем реальных временны́х отношений, и презенс способен заместить почти всё.

Место и значение. Маутнер стоит у истоков той линии мысли, которая позже будет названа «критикой языка» и которая прошла через всю философию XX века. В отечественной литературе его имя обычно упоминается в контексте философии языка Людвига Витгенштейна — и не случайно: Маутнер гораздо раньше Витгенштейна обосновал необходимость проверки философских понятий на осмысленность и сформулировал мысль о том, что границы языка суть границы мира. Его радикальный скептицизм относительно познавательных возможностей языка оказал влияние на литературу «языкового кризиса» начала XX века — от Гуго фон Гофмансталя до Роберта Музиля. Вместе с тем Маутнер не строит позитивной теории: его метод — критический и в известном смысле разрушительный. Он не предлагает «правильный» язык, он показывает, что никакой язык не может быть логически прозрачным, и что претензия логики на абсолютность есть самообман. Критика языка, по Маутнеру, должна стать «наукой наук», поскольку всё знание человечества накоплено в языке и посредством языка.

Каковы следствия. Следствия этой книги для философии радикальны. Если логические формы суть лишь отложившиеся привычки греческого (и вообще индоевропейского) языка, то вся классическая метафизика, от Аристотеля до Гегеля, предстаёт как систематизация языковых иллюзий. Для теории познания это означает, что язык не столько открывает нам доступ к действительности, сколько заслоняет её: слова — не «факсимиле мира», а мнемотехнические знаки, служащие ориентации в «мире воспоминаний». Для науки — что её понятия (цвет, тепло, свет как «свойства») устарели и требуют перестройки, но перестройка эта невозможна усилиями отдельного человека, ибо язык есть «массовый продукт». Для самого Маутнера следствие оказалось горьким: последовательный скептицизм не оставляет места для положительной программы, и «критика языка» неизбежно завершается молчанием — или, как выразился один из исследователей, «языковым ужасом» (Sprachschreck), из которого рожда-

ется не новая философия, а новый литературный опыт. Эта книга — не руководство к действию, а документ кризиса: она фиксирует тот момент, когда европейская мысль обнаружила, что инструмент, которым она пользовалась тысячелетиями, неисправен, и что починить его нельзя.

Грамматика.

I. Неопределённость грамматического смысла.

Налицо тот факт, что, с одной стороны, мышление движется в формах грамматики (разумеется, поскольку язык есть мышление, а наличная языковая форма некой человеческой группы должна быть также и её формой мышления), что, с другой стороны, то же самое мышление, по вере логиков, должно принимать логические формы, чтобы быть состоятельным. Отсюда — старый вопрос о том, как относятся друг к другу логика и грамматика.

Древние ещё не могли так остро поставить этот вопрос, ибо их логика (то есть именно формы их языка) уже была готова, когда они начали выстраивать скромную грамматику. Отсюда — преимущество старшинства, которым обладает логика; оно объясняется тем, что философия в своём младенчестве хваталась за абстрактнейшие вопросы прежде всего и охотнее всего; это преимущество логики имело следствием то, что вплоть до нашего времени вопрос всегда ставится так: как относится грамматика к логике — примерно, как случайное к абсолютному? Логику всегда считали чем-то абсолютным, неким метафизическим небесным даром, — это человеческое построение, которое от других человеческих построений не отличается даже своей устойчивостью.

Против многочисленных попыток возвысить грамматику тем, что в ней искали и находили те же божественные качества, что и в логике, реакция была неизбежна. В настоящее время уже не утверждают тождества (низшей) грамматики и (высшей) логики; довольствуются тем, что усматривают божественные следы логики в грамматике. А такой особенно критический исследователь, как Штейнталь, хочет признать («Abr. d. Spr.» 162), что язык независимо от логики создаёт свои формы в полнейшей автономии. Это познание должно было навязаться ему, когда он сравнил полноту разнообразных языковых форм со (столь же им признаваемым) священным единством логики.

Но если мы видим в традиционной логике не что иное, как в высшей степени проницательное разбирательство между Аристотелем, любящим порядок классификатором, и его греческим языком, то утверждение Штейнталя придётся сформулировать несколько скромнее: современные языки создают свои формы в полнейшей автономии, (почти) независимо от греческих форм. С тем же успехом можно было бы возвестить как нечто новое: греческая мифология или же магометанство развились независимо от теологии святого Августина.

Однако — и это опять-таки прелестный пример недостаточности языка и логики — совершенно разные вещи: утверждать ли, что грамматика тождественна логике, или говорить, что логика тождественна грамматике. Я хочу сказать: совсем другое дело — желать возвысить грамматику до ранга божества Логики или же унизить логику до ранга служанки Грамматики.

Язык, — и я не устану это повторять, — есть не что иное, как несовершенное средство людей ориентироваться в своём мире воспоминаний, использовать память, то есть собственный опыт и опыт своих предков, со всей вероятностью того, что этот мир воспоминаний будет подобен миру действительности. Грамматика каждого языка исходила из мира действительности, но затем создала в мире воспоминаний самостоятельные удобства, омнибусы, ассоциации, рельсовые пути. Логика не имела ничего, кроме грамматического языка, за что можно было бы держаться; но логика есть ведь лишь собирательное имя для усилия не потерять в мире воспоминаний план расположения мира действительности — или, вернее, найти его. Грамматика и логика суть, следовательно, лишь разные стороны одного и того же человеческого языка. Грамматическим язык называется тогда, когда он удобен, гладок, лёгок для обмена ценностями воспоминаний; логическим — когда ценности воспоминаний не слишком далеки от ценностей

действительности. Это как на большом вокзале. Желательно, чтобы рельсы имели правильное расстояние между собой и правильный профиль, не были ржавыми и т. д., — то есть были бы совершенно грамматическими; желательно также, чтобы рельсы со всеми стрелками каждый раз соответствовали единственно действительным движениям железнодорожных поездов и были логически упорядочены. Несчастье может произойти как из-за ухабистости рельсов, так и из-за неправильной установки стрелок; ложная грамматика и ложная логика одинаково опасны. Обычно же ухабистые рельсы воспринимаются лишь как неприятные, неправильные же распоряжения неизбежно порождают катастрофы.

Язык воспринимает неправильно сформулированную, но грамматически верную мысль, например, «один круг — круглый», как неприятную. Однако бессмыслица, если она грамматически корректна, например, «круг — угловатый», вызывает меньше беспокойства. Настоящая проблема возникает позже — не из-за логики или ошибочных выводов, а из-за самой системы, которая проявляется в грамматически правильной, но логически бессмысленной фразе.

Лингвисты уже показали, что наша грамматика — не грамматика всех языков, что она, напротив, в весьма большой степени есть грамматика лишь меньшинства. Написать логики других языковых групп было бы прекрасной и почти неразрешимой задачей специалистов. Однако в том виде, в каком это до сих пор предпринималось, мне кажется, что всякая попытка остаётся безрезультатной. Всякая попытка получить логику дравидийского, китайского и т. д. языков путём перевода на родной язык превращается в непреднамеренную фальсификацию. Попытка А. Штёра создать «алгебру грамматики», которая должна предложить основные черты нового искусственного языка без оглядки на грамматики действительности, но с верой в логику и её алгебру, — эта попытка часто есть лишь выражение бесплодной проницательности.

Зигварт (I 29) обронил замечание, что он мог бы построить логику только внутри более развитых языков. Это признание ценно. Вся логика Аристотеля есть не что иное, как рассмотрение греческой грамматики с интересной точки зрения. Если бы Аристотель говорил по-китайски или на дакотском, он должен был бы прийти к совершенно иной логике.

Мы, европейцы, называем те языки более развитыми, которые обладают особыми частями речи для различных категорий логики — существительными, прилагательными и т. д. Теперь, кажется, не подлежит сомнению, что Аристотель, учитель всех логиков, почерпнул категории из частей речи. Если это не промах circulus vitiosus, то тогда никакого circulus vitiosus вообще не существует.

И стоит поразмыслить о том, не затруднили ли наши более развитые языки — создавшие особые категории для тела плода, для его цвета и для его благоухания, различающие землянику, её свойство быть красной и её деятельность благоухания, — не затруднили ли эти более развитые языки проникновение в глубочайшую суть природы. Понадобились такие умы, как Локк и Кант, чтобы освободить наше мышление из выдвижных ящиков этого языка. Ведь то, что здесь набухает до земляники, что здесь красное и что здесь благоухает, — всё это лишь одно. К тому же естествознание на своей нынешней высоте уже не знает, что делать со старыми категориями языка. Как неуклюже и устарело на самом деле различие между свойством и деятельностью. Всякий жук, конечно, может чувствовать, что кипящая вода находится в деятельности, движется, и, если он в неё упадёт, что она обладает свойством быть горячей. Для нашей нынешней науки все свойства растворяются в движениях, то есть деятельностях. Тепло есть движение или деятельность. Высокий тон раздражает наши слуховые тельца лишь чаще, чем низкий. Красный цвет земляники — всегда согласно нынешнему воззрению науки — есть движение, действующее на нашу сетчатку, тогда как именно благоухание ещё не так ясно доказано, как движение или деятельность.

Если бы, следовательно, наш язык был на одной высоте с наукой, то вся категориальная работа была бы перевёрнута вверх дном. Тогда у нас, правда, был бы становящийся язык, который могла бы понимать лишь часть людей. Но язык, которым пользуется и наука, есть массо-

вый продукт. Более развитым был бы тот язык, который со времён Р. Майера, Гельмгольца и Маха научился бы выражать старые понятия свойства — цвета, света, тепла и т. д. — через глаголы, и притом переходные глаголы. Но такие изменения отдельный человек произвести не может. И я прекрасно знаю, что люди будут смеяться — выражение — это употребительно в Швейцарии — и удивляться, если какой-нибудь учёный захотел бы сказать: «Дерево зеленеет меня» вместо «Дерево зелёное».

Цель всякой науки — иметь соответствующее представление о мире действительности; а поскольку было бы невозможно удержать все единичные представления в потенциальной памяти, поскольку для подобных единичных вещей действительности выступают обобщающие словесные знаки, постольку цель сводится к тому, чтобы пирамиду, или систему, или организм мира действительности удержать и передать через пирамиду, систему или организм слов. При этой цели науки очевидным образом предполагается двоякое.

Во-первых, что действительность должна в себе обнаруживать нечто такое, что соответствует механическому, логическому или живому порядку, который мы в ней ищем; причём следует заметить, что понятие порядка, быть может, есть нечто столь исключительно свойственное человеческому рассудку, что природа вне рассудка «порядка» вовсе не знает. Что может природа знать о симметрии, которой мы ведь так часто в ней восхищаемся?

Во-вторых же, предполагается, что наши понятия или слова, поскольку они как знаки для единичных представлений совпадают с единичными вещами, каждый раз соответствуют виду, роду, материи, абстракции и т. д., которые мы хотим обозначить; предполагается, следовательно, что наш человеческий язык есть в известном смысле факсимиле, фонограмма мира действительности, из чего тогда действительно следовало бы, что через вслушивание и точное сравнение слов (через говорение или мышление) возможно поступательное познание. Насколько мало язык пригоден для механического или логического здания знания, для мирового каталога, — это показано в другом месте.

Даже для обозначения самых простых, повседневных и известных связей между вещами наш язык, кажется, не подходит. Хотя всё языкознание, или грамматика (если она вообще имеет смысл), может лишь сравнивать категории языка с категориями реального мира.

Я постараюсь объяснить некоторые моменты. Я уверен, что дальнейшее исследование покажет: десять категорий бытия, считающиеся высшими формами рассудка со времён Аристотеля, были заимствованы из частей речи греческого языка. Познание культурных народов, привязанное к структурам «арийских» и подобных языков, вращалось по кругу, всё глубже вплетая языковые формы в природу. Это самообман, если мы принимаем очевидные формы языка за отображение действительных форм отношений. Даже такие категории, как «вещь» и «свойство», мы видим в природе только потому, что они есть в языке.

И я полагаю далее, что открытие Канта, которым он отказал формам познания в вещи-в-себе и приписал их интеллекту, сводится к предчувствию этого моего учения, как это можно найти в надлежащем месте. Именно так: категории или формы всякого познания не в действительности, они в мышлении, то есть в языке, только там, и потому с ними не выманить живого пса из-за тёплой печки.

Я хочу это, сколь бы очевидным, даже ослепительно ясным мне ни казалось уже само утверждение, предварительно показать на важнейших категориях или частях речи: на вещи, или субстантиве, на качестве, или прилагательном, на действии, или глаголе.

Нам, то есть нашему языку, близко считать словесные знаки для действительных единичных вещей, то есть конкретные существительные, как «солнце», «собака», за изначальнейшие и ценнейшие; мы склонны верить, что люди могли бы при нужде объясниться между собой одним лепетом существительных, что прилагательные и глаголы были образованы позднее.

Что такое прилагательное? Если бы языковедение не находилось испокон веку на логическом ложном пути, оно должно было бы со времён Локка медленно прийти к ответу, который

здесь, почти без подготовки, покажется парадоксальным. Я говорю именно так: субстантивным словом мы обозначаем совокупность всех чувственных впечатлений, которые мы выводим из одной и той же вещи как из их причины; например, словом «яблоко» мы обозначаем вещь, которая нам кажется такой-то по величине, такой-то по окраске, такой-то по запаху, такой-то по сладости; словом «солнце» мы обозначаем вещь, величину (соответственно расстояние), свет, тепло которой мы ощущаем так-то и так-то; прилагательным же словом мы обозначаем отдельное чувственное впечатление, которое мы среди вызванных некоей вещью ощущений хотим или должны особенно заметить из какого-либо интереса; например, мы в зависимости от обстоятельств обращаем внимание на то, что яблоко «красное», «душистое», «большое», «сладкое», что солнце «далёкое», «светлое», «тёплое». (Если мы случайно говорим «краснота», «запах», «сладость», «светлость», «тепло», то от этого прилагательный характер не прекращается.)

Если теперь принять во внимание, что все абстрактные слова новейшего образца, что более древний язык — само собой разумеется и доказуемо — обходился более конкретными словами, что, однако, — как мы только что обнаружили — все конкретные прилагательные (это новообразование, пожалуй, следует допустить) психологически отличаются от конкретных существительных только числом обозначаемых чувственных впечатлений, то болтовня о двух категориях или формах, к которым они принадлежат, рушится. Здесь уже, на пороге, язык или мышление хочет внести искусственные категории в смеющуюся действительность.

И пусть остерегаются думать, что теперь прилагательное следует признать более древним, потому что оно обозначает лишь одно впечатление, существительное же — от двух до шести или, смотря по счёту, ещё больше. Ибо, во-первых, общее впечатление естественным образом обычно присутствует раньше, чем отдельное ощущение: «яблоко» раньше, чем «красное». Во-вторых, же — и на это я делаю ударение — действительно лишь чувственное ощущение, а знак для него безразличен. До различения между существительным и прилагательным есть чувственное впечатление. И где вообще присутствует лишь одно ощущение, там различие между прилагательным и существительным исчезает. Если ребёнок видит блестящую точку на небе и не имеет побочного ощущения, то безразлично, говорит ли он «звезда» или «светлая»; подобным же образом часто безразлично, говорим ли мы «вода» или «мокрая», «огонь» или «горячий». Совершенно безразлично; в слове и в мысли безразлично.

Итак, уже здесь ясно, что различие, которое могло бы соответствовать различию между категориями существительного и прилагательного, есть несравненно иное в мире действительности и в мире языка. Если я хочу обозначить совокупность ощущений (или, вернее, их общую причину) неким словом в смутном виде, то я говорю «так называемое существительное»; если я замечаю часть её, отдельное ощущение, то я говорю прилагательное; если я наблюдаю это отдельное ощущение так внимательно, что в нём самом снова оказываюсь в состоянии нечто различать, то знак снова становится существительным, отвлечённым понятием (яблоко — круглое — округлость). Так кажущиеся твёрдыми категории путано колеблются взад и вперёд, как образы сновидений, в зависимости от каждого настроения мгновения. И ещё более. Если достоверно, что естественный человек — сегодня, как и в первобытные времена — раньше воспринимает вещь, чем её свойство, то столь же достоверно, что он мог вещь всё же заметить, обозначить, назвать лишь по чувственному ощущению, что он существительное метафорически образовал из прилагательных слов. Примеры можно привести лишь из новейшего слоя языка; но так должно было быть всегда. Также и между существительным и глаголом, по болтовне философов языка, существует, кажется, глубокое категориальное различие. И моё объяснение звучит, быть может, похоже, когда я говорю: существительное обозначает совокупность ощущения, исходящего от некоей причины, то есть оно обозначает именно причину; глагол же обозначает изменение этой причины в пространстве и времени. Стоит только обратить внимание на — я хочу сказать — конкретные глаголы, например, «дерево цветёт»; снова

язык замечает отдельное ощущение, которое, однако, отличается от прилагательного («дерево зелёное») тем, что мы восприняли изменение, развитие, движение или как это ещё назвать. «Идёт дождь» поэтому говорит совершенно не что иное, как существительное «дождь», при известных обстоятельствах не что иное, как прилагательное «мокрый». И снова следует напомнить, что совершенно несомненно на многих вещах, по большей части на подвижных, именно изменение бросалось в глаза более всего, что поэтому это изменение становилось их обозначающим и что таким образом те существительные, которые не были прилагательными, были именно глаголами. Заметьте: в то время, когда категории ещё не могли быть установлены — те, которых нет в мире действительности.

Я предоставляю другим прослеживать следы, соединяющие прилагательный мир с другими «категориями»; для меня всегда есть нечто прилагательное, когда о вещи «сказываются» частичные представления. «Четырёхрукий» — такое прилагательное, которое столь же мило может быть выражено через «(обезьяна) имеет четыре руки». Метафору видно отчётливее, если мы говорим, например, яблоко имеет красный вид, красные щёки, имеет сладкий вкус, имеет тот и тот запах, вместо: есть красное, сладкое и т. д.

Итак, если общие формы действительности, её категории, уже в яснейших случаях не совпадают с частями речи, с категориями языка, — как же будет обстоять дело в каверзных случаях предлогов и местоимений? И как должно быть спасено единство форм в действительности и мышлении, если важные категории одного языка отсутствуют в других культурных языках? И как будет, если современное естествознание наконец потребует права улучшать язык, как оно с помощью искусственных средств улучшило органы чувств? Как если бы оно захотело выразить искусственные чувственные впечатления, как если бы оно захотело выразить результаты трудных экспериментов? Если бы оно доказало и восприняло звук, свет, тепло и т. д. как движения и теперь потребовало бы, чтобы прилагательное непременно стало глаголом? Где остались бы тогда старые категории Аристотеля?

Даже если мы не будем рассматривать парадоксальную идею адаптации языка будущего к нашим усовершенствованным органам чувств (микроскопу, телескопу, микрофону, аналитической механике и математическому анализу), старая теория категорий все равно окажется несостоятельной, как в первоначальной форме, так и в любых ее интерпретациях.

Платон ещё свободен от неё, что, однако, не его заслуга. Он просто ещё не имел настоящего представления о частях речи, которые были установлены после него; поэтому он один ещё не болтал о категориях бытия и довольствовался единственной: идеей; его идеи были для него чем-то вроде моделей всего того, что мы можем представлять. Он был архиреалистом, разумеется, в смысле схоластиков, и, если бы он знал о предлогах, он где-нибудь в Кукушкином гнезде принял бы также идею предлогов. Его идеи были для него матерями, матрицами наших единичных представлений; но поскольку он, к счастью, ещё не учил грамматику, постольку по крайней мере каждое представление имело лишь одну мать, одну идею; со времён Аристотеля, который уже был грамматиком и вдобавок логиком, каждое представление могло иметь до десяти таких матерей.

Человек стоит в мире как зритель, как в театре. И как существует особая оптика театра, благодаря которой сцена только и дарует нам прекрасную иллюзию, так и для познания мира существует оптика духа, которой мы обязаны иллюзией познания. Мышление есть инструмент иллюзии человека.

Уже при образовании простейших понятий, то есть при сравнении вещей, соучаствует субъективный интерес — будь то интерес отдельного человека, будь то одинаковый интерес людей. Не может быть никакого сомнения в том, что интересные, полезные или вредные виды животных были названы раньше, чем безразличные. Несметное число безразличных видов животных в живом языке ещё и сегодня не имеет видового имени, хотя в научной терминологии оно, кажется, и существует. Ещё сильнее субъективный момент интереса проявляется в

высших видовых именах или категориях. Оптика духа, правда, вызвала иллюзию, будто общие категории грамматики или логики, какими они у нас исторически стали, соответствуют миру действительности. Мы верим, что видим в мире действительности то, чем обладаем в языке — в наших прилагательных и их степенях, в наших глаголах и их временных формах, в наших существительных и их числовых формах. До образования этих более молодых категорий язык или мышление обладали во всяком случае иными. Для прилагательного характерно, что наиболее употребительное (хороший, лучший) всё ещё не имеет языковой степени сравнения; равным образом наиболее употребительный глагол (быть, есмь, был) не имеет языкового спряжения. Это весьма примечательно так же и в других языках. Это кажутся остатками из того времени, когда категорий степеней сравнения и времени ещё не было. С этим можно сравнить двойственное число более древних языков, которое исчезло из наших культурных языков.

Напротив, в очень древнее время должны были существовать категории, которые в таком роде сегодня уже не ценятся. Когда познание мира ещё основывалось на элементах огня, воды, воздуха и земли, противоположность влажного и сухого могла казаться столь же глубокозначительной, как сегодня противоположность духа и тела. Какому-нибудь мировоззрению, основывавшемуся на противоположности полов, может быть, обязано своим происхождением языковое различие мужского и женского, которое ещё сегодня отягощает наши языки. Ещё дальше вглубь может уходить противоположность съедобного и несъедобного — двух категорий естественного человека, которые в языке ещё сегодня живут, например, при разделении грибов. Наша гордая научность верит, что преодолела этот субъективный момент в образовании категорий; но позади высших оснований деления всякого мирового каталога, даже новейшего, всё же торчит какая-то старая противоположность между съедобным и несъедобным. Интерес направляет внимание, внимание создаёт себе память, память становится языком.

Вовсе не удивительно, что общие понятия, которые в так называемой логике были абстрагированы из соответствующего познания мира, снова обнаруживаются в грамматике как формы отношения языка. Ибо нет ничего более общего и в языке более часто выражаемого, чем эти отношения, например, к числу, времени и месту. Человек может в своей жизни заметить ещё столько собак и найти повод о них говорить, — он всё же будет иметь случай применять понятие множественного числа или понятие прошедшего времени в бесконечно более частых случаях. Поэтому звуковой знак для собаки мог оставаться специализированным, тогда как звуковые знаки для множественного числа или прошедшего времени стали грамматическими категориями. Живые языки имеют эти звуковые знаки, например, для множественного числа или прошедшего времени, не достаточно просто; различия склонений и спряжений, которые при изучении чужого языка причиняют такие трудности, суть совершенно несомненно непонятные остатки из времён, когда согласно тогдашнему мировоззрению более осязаемые категории казались важнее, чем категории числа и времени.

Быть может, не сочтут слишком смелым, если я утверждаю, что этот субъективный момент в образовании категорий деятелен даже при видовых понятиях. Собака есть видовое понятие. Но если кто-нибудь пишет трактат или книгу о собаках, то для него и для читателя мало-помалу собака становится интереснейшим понятием, высшим понятием многолетнего или для читателя многонедельного исключительного интереса. Равным образом для пылкого влюблённого предмет его любви становится высшим понятием его интереса. В книге о собаках собака становится категорией, в мышлении серьёзно влюблённого юноши женский индивид становится категорией. И это тотчас же очень просто выражается в языке тем, что в книге всегда речь идёт только о «нём», в мышлении юноши — о «ней».

Старая грамматика учила просто и прямо, что правила существуют, чтобы им, как и другим законам, следовали под страхом считаться необразованным. В настоящее время господствует более либеральное воззрение, которое видит в языке организм и делает господство языковых законов менее внешним. Например, сегодня от лучших учителей уже не услышишь, что

предлог «управляет» падежом. Хотелось бы видеть в языке анархистское или по крайней мере демократическое идеальное государство, в котором каждая потребность самовластно создаёт себе подходящую форму.

Но всё же нельзя отрицать, что существуют устойчивые формы, что существуют, например, предлоги, с которыми мы связываем смысл известного направления, что существуют падежи, которые регулярно предоставляют себя в распоряжение для известного смысла. Без таких форм языки были бы невозможны. Они приводят необозримый материал памяти наших чувственных впечатлений и impressions всех наших предков хоть немного в порядок, они суть вспомогательные средства памяти. Так что приходится сказать, что, например, предлоги, хотя и не управляют своими падежами, но силой аналогии так прочно привязаны к ним, что отдельный человек не может ускользнуть от их тирании.

Но ошибкой также и новейшего языковедения является то, что оно слишком доверяет этой аналогии и подкладывает под формы каждый раз определённый смысл. Мы знаем, что языку существенно быть неопределённым и туманным. Даже самое конкретное понятие всё ещё расплывчатее, чем действительность, то есть чем чувственные впечатления, которые мы от неё получаем. Насколько же неопределённее должны быть формы грамматики, которые все суть абстракции.

Что касается прежде всего предлогов, то развитие здесь, очевидно, сходно с соединением местоимения с соответствующей формой глагола. Когда я говорю «ты пишешь», то второе лицо первоначально было уже выражено в окончании «-шь»; предпослание «ты» было первоначально повторением знака для второго лица, пока в китаизирующих новейших языках смысл конечного слога не потерялся и знак для второго лица не остался единственно в «ты». Равным образом, несомненно, сначала падежное окончание давало направление и тому подобное, и это указание удваивалось более сильным словом. Когда языки приобрели обыкновение делать это повторение единственным выражением отношения, тогда и относительное слово стало предлогом, тогда как сначала смысл падежной формы потускнел, а в конце концов, как в английском и французском, и сама падежная форма.

Тщетно старание обнаружить в старых или новых падежных формах единственное значение. То, что проходит через весь язык, мы сможем доказать и здесь. Обстоятельства направляют внимание туда или сюда. В языковом выражении отдельные представления вызываются одно за другим, чтобы снова быть соотнесёнными друг с другом через воспоминание сопровождающих обстоятельств. В течение времени развились падежные формы, которые отделяют главное представление от побочных, но это разделение остаётся всегда колеблющимся, отношение побочных представлений остаётся всегда неопределённым. Если я без падежной формы ставлю рядом два слова «комета» и «год», то это может означать как «год определённой кометы», так и «комета определённого года». В развитом языке побочное представление выражается теперь родительным падежом. Родительный падеж обозначает в одном случае объемлющее понятие, в другом — объемлемое. Значения родительного падежа были очень аккуратно логически разделены. В наших школьных грамматиках родительный падеж называется притяжательным (что вовсе не может быть поддержано); затем его делят на родительный притяжательный, родительный разделительный, родительный материала, свойства, на субъективный и объективный родительный, на родительный вызывающий и устремляющий, и в конце концов приходится ещё добавить абсолютный родительный, чтобы охватить такие употребления, которые не укладываются в схему. Из этой путаницы уже Герман Пауль пытался спастись тем, что сказал: «в индогерманских языках родительный падеж употребляется для выражения любого произвольного отношения между двумя существительными» (Pr. d. Sprachg. S. 126), причём он оставлял в стороне родительный при глаголах. Но если мы примем во внимание, что все грамматические языковые формы равным образом употребляются для выражения отношений представлений, то отчаянное объяснение Пауля ещё беднее, чем оно казалось ему самому.

В действительности оно говорит лишь, что родительный падеж есть языковая форма, что стоит собственно ещё ниже нулевой ценности тавтологии. Мы не можем выйти за пределы того, чтобы видеть в родительном падеже форму слова, которая побуждает нас направлять наше внимание от одного представления к ассоциированному представлению; или, вернее, поскольку ассоциация происходит бессознательно, родительный падеж есть форма выражения для бессознательной ассоциативной деятельности. Можно было бы возразить, что это объяснение столь же хорошо подходит к любой другой падежной форме (чтобы оставаться только при имени). Оно и подходит к любой. И все старания внести логический смысл в употребление различных падежных форм разбиваются о тот факт, что в различных языках любое отношение может быть выражено любой падежной формой.

В латыни amor patris может ещё означать и то и другое: любовь отца и любовь к отцу. В зависимости от сопровождающих обстоятельств слушатель поймёт оба слова в смысле говорящего правильно, не ощущая при этом даже отдалённейшим образом различия в смысле родительной формы. Нам может быть безразлично, по какой случайности аналогического образования неопределённость значения в этом случае могла стать настолько большой, что охватывает противоположности. Пусть не думают, что такие случаи единичны. В немецком «Vaterliebe» означает, правда, только любовь отца; но уже близкородственное слово «Elternliebe» может, по нашему языковому чувству, означать как любовь родителей, так и любовь к родителям, а «Vaterlandsliebe» совершенно однозначна лишь потому, что отечество со своей стороны не любит. Сопровождающие обстоятельства решают.

Знаменитое притяжательное значение родительного падежа, которое ведь отбирает ряд примеров, в которых эта падежная форма, кажется, имеет определённый смысл, гораздо не яснее, чем наши грамматики заставляют верить. Где собственно сидит притяжательное значение: в «князь страны» или в «страна князя»? Принадлежит ли князь стране или страна князю? В действительности только одно принадлежит другому, а именно в наших представлениях. Родительный падеж обозначает в обоих случаях лишь ассоциацию. Но даже в совсем просто подобранных примерах яснейшего притяжательного смысла представление в зависимости от обстоятельств будет ещё колебаться. Если я говорю «сюртук отца», то я всё ещё могу этим хотеть выразить различные отношения: например, во-первых, разумеется, «это сюртук, который принадлежит отцу», но также «это сюртук, который у отца украли», или также «это сюртук, который я хочу подарить отцу на Рождество».

Притяжательным употреблением это кажется вполне, когда мы называем воскресенье «днём Господним». По смыслу же отношение явно требует дательного падежа. Это день, который посвящён Господу. Равным образом «произведение поэта» кажется в высшей степени притяжательным. Но отношение здесь совершенно иное; должно быть сказано: произведение, которое поэт подарил миру. И в обращении «поэт произведения» родительный падеж снова говорит, что поэт сочинил произведение (винительный падеж). Родительный падеж есть не что иное, как «девочка на все руки», и должен коротко выразить любое отношение субстантивного представления. Другая аналогия его не образовала. Лишь маленькие области внутри его употребления обнаруживают несколько более определённые, но никогда вполне твёрдо определимые аналогии.

В той же неопределённости винительный падеж обозначает любое отношение любого существительного к любому глаголу. Возразят, что главное отношение между существительным и глаголом (а именно в простейшем предложении) выражается именительным падежом. Мы должны вспомнить наше понимание предложения, чтобы понять и устранить это естественное различие между именительным и винительным падежом. Простейшее предложение, состоящее только из субъекта и предиката, может и должно поэтому отказаться от любой падежной формы, потому что оно ведь ещё вовсе не связывает двух представлений, а лишь развёртывает одно представление. «Солнце светит» есть лишь одно единственное представле-

ние; «солнце» одно даёт ту же мысль. В развитом языке, эмансипировавшемся от созерцания, понятие предиката, кажется, только ещё приступает к понятию субъекта; но оно всегда уже взято из понятия субъекта. К понятию солнца принадлежит, что оно светит. «Дерево цветёт» кажется говорящим уже больше, потому что дерево ведь не всегда цветёт. Но во всех индивидуальных случаях я, а именно когда вижу перед собой цветущее дерево, не могу вовсе схватить представление дерева без его цветения. Показываю ли я пальцем на солнце, на цветущее дерево, на спящего ребёнка, на текущую реку, на приближающегося врага, — я каждый раз нераздельно указываю на субъект и предикат одновременно. Я могу предикат так же мало отделить от субъекта, как в предложении «снег бел». Это был бы вовсе не снег, если бы он не был бел. Это было бы по меньшей мере не это дерево, если бы оно не цвело, это был бы не этот ребёнок в это мгновение, если бы он не спал, и т. д. Грамматика различает прилагательное «белый» и глагол «спать» через различие свойства и деятельности. Это различие уже не существует для нашей естественнонаучной психологии; насколько же меньше должно оно существовать для логики, которая имеет дело только с признаками понятий. Разлагаем ли мы в простейшем предложении конкретное понятие на имя и прилагательное или на имя и глагол, — это зависит ведь, собственно, только от нашего познания природы или, вернее, от унаследованной привычки передавать в языке древнейшие воззрения на природу. Говорю ли я, как весь мир, «небо синее» или «небо синеет», говорю ли я «роза душистая» или «роза благоухает», — это пока что не что иное, как различная языковая привычка, и всегда есть лишь развёртывание одного понятия, не соединение двух понятий. Отчасти ложное представление о природе, отчасти чистый случай были причиной того, что признаки понятия выражаются то прилагательными, то непереходными глаголами. Можно было бы мысленно устранить все прилагательные и на их место поставить непереходные глаголы. Но все непереходные глаголы суть таковые в нашем представлении лишь потому, что мы в языке и в мысли привыкли не обращать внимания на их единственный и общий объект. Говорящий человек есть общий объект всех непереходных глаголов. Это ясно видно на тех из них, которые имеют непосредственное отношение к нашим чувствам. У нас только нет этой языковой привычки, потому что общий объект всех чувственных впечатлений мира нам слишком хорошо известен. Но в действительности это я — тот, кого зеленеет дерево.

Теперь в природе существует бесчисленное множество других отношений, где вызванное и воспринимаемое изменение происходит не непосредственно в наших органах чувств, а вне их, на других объектах. Одну группу мы выражаем либо прилагательным, либо непереходными глаголами, другую группу — так называемыми переходными глаголами. Точное наблюдение, которому, однако, придётся перешагнуть через наши языковые привычки, научит нас, что различие между непереходными и переходными глаголами покоится лишь на неточной психологии и к тому же не имеет определённых границ.

Я принимаю как допущенное, что признаки вещей, которые мы выражаем прилагательными, с таким же успехом могли бы быть выражены непереходными глаголами. Мы знаем, что ощущение зелёного цвета вызывается лишь воздействием на нашу сетчатку, что мы суть объект кажущегося непереходным глагола «зеленеть». Предложение «дерево зеленеет меня» построено ещё совершенно против нашего языкового чувства. Но наше языковое чувство всё же уже позволяет вместо «дерево зелёное» по крайней мере сказать «дерево зеленеет». То же языковое чувство, однако, не позволяет превратить прилагательное «белый» в непереходный глагол «белеть», быть может, лишь потому, что существует переходный глагол «белить». Языковое чувство при этом действует совершенно нелогично. Тот факт, что я есмь объект всех чувственных впечатлений, что я, следовательно, как объект должен был бы быть добавлен ко всем непереходным глаголам, не совсем чужд языковому чувству. Если моё собственное языковое чувство меня не обманывает, язык часто ищет выразить это обстоятельство через так называемый dativus ethicus. В прозе и поэзии мы можем сказать: яблоко мне (сладко) на вкус,

роза мне благоухает, дерево мне зеленеет. Погрузимся в смысл этого дательного падежа — и мы узнаем, что он собственно действительно высказывает объект вкушения и благоухания: только потому, что обычный внешний объект по нашим языковым привычкам принято высказывать в винительном падеже, мы для внутреннего объекта прибегаем к помощи более интимного дательного. Я не могу выразиться иначе и полагаюсь на языковое чувство читателя.

Теперь обратим внимание на переход от непереходного глагола к переходному в тех восприятиях, которые непосредственно касаются наших чувств. В качестве посредствующего примера я выберу слово «звать». Если мы хотим им выразить только возбуждение звука, которое довольствуется тем, что заставляет звучать в нашем органе слуха, то мы понимаем слово как непереходное. «Кукушка зовёт». Если мы при этом ощущаем известный призыв прислушаться, то мы ставим после него дательный падеж. Фауст говорит глубоко потрясённый: «Кто зовёт меня?» Но если моё «я» должно стать внешним объектом зова, если я вследствие этого должен произвести над собой изменение, ответить зовущему или пойти к зовущему, то слово становится переходным, и я спрашиваю: «кто зовёт меня?»

Надеюсь, теперь сделать дело ещё яснее в области других чувств, хотя мне и не приходит на ум больше столь хороший пример, где глагол при переходе от внутреннего к внешнему объекту может оставаться тем же. Самое большее, чувство вкуса ещё даёт к этому повод. Мы говорим «перец жжёт», «поперчённое кушанье жжёт меня»; различие едва ощутимо; я всё же полагаю, что с «меня» намечается объяснение для реакции. Я имею в виду следующее. Мы говорим «снег бел» или «снег светит», пока белое воздействие на мой орган зрения не превышает нормальной силы, пока я бессознательно есмь объект деятельности свечения или белизны. Я могу тогда также сказать «снег светит мне», что, впрочем, получило бы ещё и другой смысл. Но как только воздействие свечения или белизны на мою сетчатку становится настолько сильным (поперчённое кушанье жжёт меня), что я вынужден произвести изменение — хотя бы только рефлекторным движением — закрыть глаза, отвести голову, пролить слёзы и тому подобное, тогда я тотчас из внутреннего объекта свечения становлюсь внешним объектом, и я говорю «снег слепит меня». Этим, полагаю, я дал хороший пример для психологического факта, что простое различие в степени некоего природного действия может сделать из непереходного глагола переходный. То, что мы в немецком употребляем два разных глагола, — чистая случайность.

Это кажущееся отступление не было бы бесплодным, если бы оно привело нас хотя бы к тому, что неточная психология неясно ставит то винительный, то дательный падеж для одинаково «страдающего» объекта. Но отступление было необходимо, чтобы лучше, чем до сих пор, объяснить сущность винительного падежа и затем добавить, почему его смысл должен был остаться неопределённым. Мы видели, что простое предложение (субъект и предикат) не есть ассоциация двух понятий, а лишь развёртывание одного понятия. Одним взглядом охватываются оба понятия, потому что одно содержится в другом. Глазу при простом предложении, так сказать, ещё не нужно двигаться. Одним-единственным указанием указательного пальца мы указываем на ребёнка, который спит, на дерево, которое цветёт, и т. д. На объект нам не нужно указывать, потому что объект сам дал пальцу направление. Я указываю пальцем на дерево, которое цветёт. Но если изменение совершается не во мне самом, а во внешнем мире, то я всё же должен двигать глазом, водить пальцем туда и сюда, ассоциировать два понятия. «Рыбак ловит рыбу», «мясник убивает скот». Я намеренно выбираю этимологически родственные слова. Простые предложения «рыбак ловит», «мясник убивает» ещё не указывают ни на какое изменение во внешнем мире сверх того: лишь когда такое изменение вызывается, мы ассоциируем новое понятие. И языки привыкли те понятия, на которых становится воспринимаемым вызванное деятельностью изменение, выражать в падежной форме винительного падежа.

Каким же должен быть общий смысл этого винительного падежа? Пока мы находимся под чарами языка, мы будем просто говорить: он означает, что предмет претерпевает изменение, что он есть цель деятельности, и тому подобное. Но точное вслушивание в наш собственный язык должно нас научить, что это лишь образные слова для совершенно несравнимых и несвязных отношений. Только под чарами языка, который внушил себе аналогию всех винительных падежей, чтобы аналогически применять винительный падеж ко всем объектам, мы сможем подложить общий смысл под винительные падежи: мясник убивает быка, я люблю работу, я пишу письмо, я называю тебя моим сверчком, случай делает воров и т. д.

Как и при родительном падеже, так и при винительном пытались обнаружить логическое разделение на различные значения. Я выше при родительном падеже не упомянул тот пункт, на который теперь должен указать. Допустим даже, что такое логическое разделение здесь или там возможно, — станет ли тогда какой-либо грамматик мира утверждать, что при живом употреблении падежных форм присутствует какое-либо сознание или хотя бы темнейшее предчувствие логического разделения? Для языкового чувства необученного существует только один родительный, только один винительный. Неопределённость смысла каждой отдельной падежной формы так велика, что не остаётся ничего другого, как сказать о них: они намечают отношения. Окружающая действительность, соответственно разбуженное воспоминание о ней, даёт падежным формам в каждом отдельном применении лишь их особый смысл. Мне не нужно для специалистов добавлять, что для остальных падежей в ещё большей мере действительно то, что я доказал для родительного и винительного.

Впрочем, тот факт, что мы в наших новейших культурных языках обходимся четырьмя падежами, тогда как в других местах (по указанию языковедения также в так называемом праязыке индогерманцев) необходимы восемь падежей, есть лишь доказательство того, что язык в своём развитии постепенно отказался от того, чтобы твёрдо держаться особых категорий для неопределённых и неясных различений. И я твёрдо убеждён: если бы мы не унаследовали четыре падежа от греческих школьных учителей и если бы язык и грамматика новых языков не влияли здесь и повсюду взаимно друг на друга, то во французском и английском давно уже не говорили бы об этих падежных формах. Грамматический гений, я имею в виду, который без знания древних языков и унаследованной грамматики был бы предоставлен единственно и исключительно английскому или французскому и написал бы грамматику одного из этих языков, вовсе не пришёл бы на мысль устанавливать наши падежные формы. Самое большее, он подивился бы отдельным странным изменениям слов (как саксонский родительный).

Чтобы и здесь не отсутствовала смехотворность педантов, наши ученики учат как грамматическую премудрость, что падежные формы суть ответы на вопросы: кто? чей? кому? кого? И дети, и грамматики порой верят, что обладают значением или смыслом отдельных падежных форм в этих вопросах. Мне едва ли нужно подчёркивать, что эти вопросы суть не что иное, как общие и абстрактнейшие повторения именно падежных форм. Только потому, что мы находимся в заблуждении, будто каждая падежная форма имеет определённый смысл, мы воображаем, что общая падежная форма (вопрос: кто? чей? кому? кого?) объясняет нам что-либо.

Короче я могу быть при той языковой форме, которая называется родом и при изучении чужих языков представляет почти непреодолимую трудность. Следовало бы из того, что разные языки и даже разные диалекты одного и того же языка не совпадают в роде, который они приписывают вещам, извлечь учение, что логика и философия мало с этим имеют дела. О значении рода существует множество мифов. Несомненно, первоначально различие между полами в живой природе (жеребец и кобыла, мужчина и женщина) послужило причиной для переноса этого различия на другие явления. Нет сомнений, что в этом процессе играла роль богатая фантазия.

Всякое половое обозначение вещи метафорично. Но, тогда как все метафоры, которыми язык вообще обогащается, были необходимы и полезны и принимали новое наблюдение в язык

с использованием старого запаса слов, — разделение вещей по родам должно было испокон веку быть роскошью, балластом.

К мифологии языка относится, следовательно, род существительных. Естественно и потому не мифологично, что третье личное местоимение имеет различные формы для обоих родов; также английский язык, после того как почти полностью сбросил балласт рода, сохранил разделение «he» и «she». В какую-то праэпоху языка могло быть естественным обозначать оба пола одного вида животных разными словами, то есть не разными родовыми формами одного слова. Характерно, что эти разные слова касались животных, которые как домашние животные были ближе всего человеческому интересу. Несущая яйца «курица» была иной пользы, чем петух, «доящаяся корова» — иной пользы, чем бык, и т. д. Всё же это могло быть ещё не мифологией, а ложным знанием природы, когда затем менее интимные животные причислялись то к мужскому, то к женскому роду, как у нас воробей, синица. Естественно было опять-таки, когда в позднейшую языковую эпоху по аналогии мужских и женских окончаний из воробья сделали «воробьиху», что, вероятно, сначала могло показаться языковому чувству шуткой.

Однако мы слишком мало знаем фантазию древних времён, чтобы так же просто объяснить, как дело дошло до установления схематического и неестественного третьего рода — среднего, и почему в конце концов во многих языках стало необходимо причисление каждого существительного к этим трём классам. Но это стало законом языкового употребления, которому, например, греки, латиняне и немцы должны были беспрекословно подчиниться. Этот фантастический закон напоминает обыкновение старомодных художников и поэтов возводить десятки абстрактных слов, как верность, любовь и надежда, в божества, хотя они и не встречались в богатой мифологии древних. Во французском божественность таких абстракций обозначается большой начальной буквой. И этот процесс ещё ближе соприкасается с возникновением языковой категории рода, если мы примем во внимание, что такое абстрактное понятие делается мужским богом и женской богиней, смотря по тому, как его распределила случайность языковой истории: немецкий скульптор изобразит «усердие» юношей, французский — девой.

Среди новейших культурных языков, как сказано, английский выбросил роды до немногих остатков. Французский по крайней мере удалил третий род. Мы же, немцы, мучаем не только чужие народы, которые хотят выучить наш язык, нашими тремя родами, но и самих себя. Можно с уверенностью утверждать, что нет немца, который по каждому существительному с уверенностью мог бы указать, какого оно рода. Это относится не только к иностранным словам, где говорят der и das Cölibat, der Magistrat, das Rektorat, der Hexameter, das Barometer, der Liqueur, die Couleur, das Douceur. И при немецких словах учёные и лучшие писатели колеблются так же, как и народ. Даже Якоб Гримм не знает, следует ли говорить der Euter или das Euter. В таких случаях нельзя положиться и на Гёте, Лессинга и других, потому что языковой обычай изменился (порой по авторитету словаря) и, например, требуется der Ungestüm там, где Шиллер ещё писал das Ungestüm. Совершенно произвольно языковой обычай порой использовал родовое обозначение для изменения значения, как при der Band и das Band, der Verdienst и das Verdienst, der Chor и das Chor. Опять-таки в других случаях один род считается поэтичнее другого; der Quell поэтичнее, чем die Quelle, но в образном изображении божество поэтического источника опять-таки женского пола, в подражание античности. Но и здесь фантазия непоследовательна. Дунай — женщина, Рейн — старый господин, хотя обе реки в латыни были мужского рода. Излишне накоплять примеры; их можно мило найти вместе у Андресена («Sprachgebrauch», S. 40 и след.). Но насколько наша фантазия зависит от родовой мифологии нашего языка, это мы узнаём из трудности, которую нам причиняет изменённый род других языков, и из нашего глупого смеха, когда иностранец грешит против родовых правил нашего языка. Мы в этом мифологическом пункте, как всегда в религиозных делах, чувствительнее, чем обычно.

Если бы мы не были владельческими рабами такого радостного по части рода культурного языка, если бы мы стояли вне его и теперь услышали, что наша родовая классификация составляет исключение среди языков земли, что большинство языков вовсе не знают рода, что, например, эскимосы делят существительные на одушевлённые и неодушевлённые, — то мы должны были бы беспристрастно восхититься языковой фантазией эскимосов и найти нашу собственную родовую фантазию варварской.

Более точная языковая история категории рода окутана мраком. Но и падежные формы различных родов в древних языках исторически приводят к результату, подобному тому, к которому приводит неучёное рассмотрение самого факта. По аналогии естественных обозначений самок животных в некоторых языках могло ясно обособиться женское склонение от мужского, и эта аналогия могла затем быть обобщена, как и другие аналогии. Средний род, который по-латыни так честно называется genus neutrum, отчаянно похож на причуду какого-то доисторического грамматика, которая затем через какую-то духовную моду стала языковым законом. Многое говорит за то, что эта категория рода развилась таким образом. Естественная противоположность между мужским и женским полом в древних склонениях, а также в немецком выражена гораздо отчётливее, чем искусственная противоположность между мужским и средним родом. Быть может, в какую-то доисторическую эпоху существительные уже снабжённых существительными языков были распределены совсем иначе; быть может, различие обоих полов относилось только к одушевлённым вещам, и языковое чувство знало, как ещё сегодня у североамериканских племён, наряду с этим деление на одушевлённый и неодушевлённый класс. Тогда, если эта «гипотеза» правильна, категория неодушевлённости, или вещности, присоединилась позднее как третий род к двум естественным. От старых грамматиков такого можно ожидать, и никто не станет отрицать, что наше языковое чувство с третьим родом, genus neutrum, связывает понятие неодушевлённой вещности, как оно и в немецком теперь называется средним родом, тогда как «neutre» во французском негативно и означает также «бесполый».

За это предположение говорило бы и наблюдение, что очень часто третий род вовсе не имеет родового окончания, а относится к мужской форме примерно так, как основа слова к именительному, например, в греческих окончаниях -ος, -ια, -ον. Поэтому третий род, которого совсем не знают семитские языки, в романских языках, как во французском, так легко мог отпасть. Сюда же может относиться и то, что в немецкое женское слово может стать средним, если оно потеряло свой конечный слог; из «die Ecke» так получается «das Eck».

Мы можем предположить, что и при этой всеобщей моде на униформирование грамматическое правило приобрело пагубное влияние на живой язык. Мы можем вполне хорошо представить себе древнее время, в котором фантазия народа, то есть тогдашнее научное убеждение, видела во многих вещах, кроме животных, в деревьях, реках и тому подобном, человекоподобные существа, как это ещё высказывается в низшей греческой мифологии. Нам нужно лишь ещё немного вернуться назад за естественнонаучные заблуждения Аристотеля, примерно в то время, когда басни Эзопа ещё не действовали собственно, как сказки, а соответствовали современному научному мировоззрению, чтобы вообразить, как многочисленные вещи представлялись половыми, как говорили с доброй верой, например, Рейн-муж, дуб-жена. Где фантазия такого добавления не требовала, там просто не было рода. Вне сомнения, что подобным образом когда-то и склонение существительных, и спряжение глаголов, и степени сравнения прилагательных были неполными. Лишь когда все эти категории до того дошли до сознания говорящего человека, что стало действенным предчувствие известной равномерности, тогда единообразие склонения, спряжения и степеней сравнения было навязано всем существительным, глаголам и прилагательным, и языки обогатились таким образом через аналогию, которую первоначально приходилось называть ложной, дёшево и плохо, несметным числом новых словоформ (ср. II. 89 и след.). Однако новое использование полных склонений и спряжений,

которое привнесло больше гибкости в язык, в общем употреблении родовых обозначений стало его тормозом. Это стало чем-то вроде фантастической игры, которую индейские языки, вероятно, сочли бы стыдным.

Меня родовые обозначения языков легко напоминают непристойные каракули, которыми бесполезные мальчишеские руки исписывают все стены.

Но как эти каракули в своей главной массе принадлежат сексуально мужской фантазии, так весь наш язык — если на него однажды с этой точки зрения посмотреть — есть мужской язык, не иначе чем наше право есть мужское право. Не только когда они хотят писать книги, женщины переодеваются в мужчин. Женщина говорит: «Я господин в доме»; и если она этим натворила беды, то потом находит, что была ослицей. «Ослица» было бы совсем ложным образом (ср. Polle, «Wie denkt das Volk u. s. w.» 2-е изд., S. 105). Самый забавный пример для моего взгляда у Полле не найти. Панкрац Шмоллер (в новелле Келлера) говорит своей красавице, которая ведь собственно только гусыня: «О фрейлейн! Вы ведь самый большой осёл, которого я когда-либо видел». И он добавляет языково-философски: «Только мы, мужчины, можем вообще быть ослами, это наша привилегия» (потому что и умные люди могут совершать ослиные поступки), «и если я вас так называю, то это ещё своего рода отличие или честь для вас».

Можно сказать, что при образном употреблении таких слов, также при переносе названий профессий на женщин (врач и тому подобное) мужской род нейтрален.

Изобретение третьего рода, среднего, представляется мне — хотя я в моём родном языке говорю под чарами этого третьего рода — одним из самых пошлых и глупых изобретений языкового духа. Правда, я иду так далеко, что вижу в разделении существительных по родам преходящую моду, которая, однако, длится немного долговато — а именно тысячелетия. Но не может быть сомнения, что в первобытные времена слова ещё не имели рода, и это факт, что самый современный мировой язык современности, английский, уничтожил родовое различие до немногих следов. Мы можем, следовательно, представить себе начало этой особой метафоры и уже заранее предчувствовать её конец. Если однажды наши языки снова сбросят роскошь приписывать каждой вещи род, тогда они, быть может, будут оглядываться на прежнее состояние, как мы, например, на эвфуизм, на роскошествующий образный язык, которым, к сожалению, ещё и теперь восхищаются у Шекспира.

Языковая форма родового обозначения, следовательно, вообще не даёт определённого образа. Какая-то случайность конечного слога в древних языках аналогически направила фантазию, когда однажды стало правилом приписывать отдельным словам род. Лишь редко образ вообще имел смысл; он большей частью был чисто языковым украшением. Употребление разделённого по родам артикля в новейших языках сделало родовое различие, возможно, ещё более внешним. Поэтому смена рода — очень частое явление, в том числе внутри одного и того же языка. Это милое наблюдение, что в немецкие особенно такие слова, которые чаще всего употребляются в без родовом множественном числе, у которых, следовательно, родовое обозначение единственного числа было меньше упражняемо, легче всего изменили свой род. «Woge», «Thräne» в средневерхненемецком были мужского рода; «Wolke», «Waffe» в средневерхненемецком были среднего рода.

Даже языковая форма множественного числа, которая ведь имеет гораздо более ясное значение, чем падеж или, тем более род, не так определённа, как следовало бы думать. Старые обозначения множества, как «Schock», «Mandel», «Dutzend», во многих языках употребляются в единственном числе. Наше «Geschwister» ещё до XVIII века было единственным числом «das Geschwister». Обозначения христианских праздников: Ostern, Pfingsten, Weihnachten стали единственными числами, равно как и слово «Buch», которое в древневерхненемецком (Buchstaben) было множественным. Наоборот, в английском «people» употребляется как множественное, и равнозначное древненемецкое «liut» также формально превратилось во множественное «Leute». Мы воспринимаем целый ряд очень часто употребляемых слов, как «три

фута», «десять марок», «двадцать фунтов», «тысяча человек», как единственные числа, хотя отдельные из них могут быть бывшими множественными. И именно в этих случаях ведь представление множества всего яснее выражено предпосланным числительным, без того чтобы языковая форма множественного числа была нужна.

Смысл этой языковой формы становится неопределённым также и от того, что она может обозначать два совершенно различных множества понятия, а именно либо несколько вещей одного вида, либо несколько видов одной вещи. Если имеются в виду несколько вещей одного вида, то множественность собственно уже лежит в самом понятии. И в мысли совершенно безразлично, говорю ли я: «Человек смертен» или «люди смертны». Поэтому превратный способ выражения — вечно повторять правило, что вещественные имена не имеют множественного числа. «Песок» по смыслу есть множественное число. Наоборот, названия болезней, как «Blattern», «Masern» и т. д., мы воспринимаем как единственное число. Но где мы различаем вещества по видам, там мы можем образовать и языковое множественное число, например, «вина его погреба».

Не столь явно на ладони лежит неопределённость смысла у языковых форм глагола. Кто не потерял через размышление свою крепкую веру в своё отношение к миру действительности, тот особенно временны́е формы глагола будет считать чрезвычайно логическими определениями; равным образом и различие между активом и пассивом. Мы столь непреодолимо привыкли давать нашим словам тот смысл, который наши представления получают через сопровождающие обстоятельства, что мы, разумеется — и с точки зрения действительности с полным правом — видим большое различие между «я бью моего брата» и «меня бьёт мой брат». Но не может быть сомнения, что язык в первобытные времена, как и сегодня язык двухлетнего ребёнка, не делал различия между активом и пассивом. «Брат бить» кричит ребёнок, и мать узнаёт с полной отчётливостью из сопровождающих обстоятельств (плаксивого или торжествующего тона, силы и привычки детей и тому подобного), что имеется в виду. Если мы вспомним, что только что было сказано о сущности винительного падежа, то мы не сможем объяснить пассив иначе, как тем фактом, что он обозначает изменения во внешнем мире. Различие от актива состоит лишь в том, что внимание сначала и полным светом направляется на предмет, на котором становится видимым изменение. Ребёнок кричит, например, в виде исключения так монотонно «брат бить», что мать думает, будто он побил брата.

Она бранится. Тогда ребёнок без знания пассива может вполне хорошо выразиться так: «Я... бить... брат», если он только тоном или жестом выставляет брата как действующее лицо.

Внимательный читатель уже заметил, что это объяснение актива и пассива довольно-таки совпадает с моим объяснением переходных и непереходных глаголов. «Я валю деревья» есть переходный и актив; «деревья падают» можно столь же хорошо понять, как пассив, как и как непереходный. «Деревья падают» — если я это высказываю вообще, как пример — совершенно ничем не отличается от «деревья валятся». Но по моему языковому чувству в действительном языке есть нюанс между «деревья падают (под топором дровосека)» и «деревья падают (от бури)». Второе предложение я ощущаю, как образное, поэтическое выражение. То же было бы, если бы я сказал: «деревья валятся дровосеком, они валятся бурей». В одном случае действующее лицо, которое производит изменение на внешней вещи, существенно; в другом оно скорее описательная добавка.

Но неопределённость простирается ещё дальше, чем на такие тонкие ощущения языкового чувства. Мы можем это ясно показать на новых языках.

Пассив выражается вспомогательным глаголом и причастием совершенного вида глагола. В английском и французском для этого служит вспомогательный глагол «быть»: I am loved, je suis aimé. В этом — между прочим замечу — ясно выражено, как внешний объект становится внутренним объектом. Процесс есть то, что нам ясно. Если внимание было больше направлено на снег, то выражение гласит: «Снег слепит меня». Если внимание было больше направлено на

меня самого, то выражение гласит: «Я ослеплён» (немецкий вспомогательный глагол «werden» даёт лишь с более интимным описанием ещё нюанс, что как раз происходит изменение).

Если я теперь утверждал, что это языково-историческая случайность, что свойства вещей выражаются то прилагательными, то глаголами (есть зелёный — зеленеет), то мне кажется, что в так называемом пассиве переходный глагол возвращается к прилагательному. «Дерево зелёное» и «дерево (становится) поваленным» отличаются ведь лишь тем, что в первом случае свойство, признак, чувственное впечатление уже найдены мной, так что я без особого повода не спрашиваю о причине; всё дело естествознания состоит, быть может, в том, что дерзко жаждущие знания люди всё же спрашивали о причине свойств, которые обозначаются прилагательными и непереходными глаголами и которые мы находим, не восприняв изменения. Во втором случае (дерево есть [становится] поваленным) я вижу свойство возникающим на моих глазах, «становление»; я поэтому чувствую себя побуждённым спросить об обычно очень осязательной причине, например, о действующем лице. Но в обоих случаях я замечаю свойство. Причастие совершенного вида есть прилагательное. В пассиве глагол стал прилагательным, как он, быть может, в первобытные времена языка совершенно совпадал с прилагательным.

И теперь обратим внимание на то, как неопределённо это причастие совершенного вида, если исследовать его тонким слухом на активный или пассивный смысл. Собственно, это причастие совершенного вида переходных глаголов ничем не отличается от причастия настоящего времени непереходных глаголов. «Дерево повалено» и «дерево цветущее». Я не могу видеть между пассивом и активом никакого иного различия, кроме более сильного или более слабого побуждения спрашивать о причине свойства.

Как нечто известное добавлю, что целый ряд таких пассивных причастий совершенно стал прилагательными (то есть в активном значении): опытный человек, заслуженный, много путешествовавший, образованный человек и т. д. К этому прибавляются подобные слова, которые лишь пытаются утвердиться в языковом употреблении, как: stattgefunden, stattgehabt. Гёте однажды говорит: «Das dem Grafen befallene Unglück».

Я выше сказал, что простой человек с его крепкой верой в действительность признает особенно определённый смысл за различными временны́ми формами, которые ведь принадлежат к важнейшим категориям языка. Ничто не кажется более ясным, чем положение человека во времени. Столь же надёжными, как понятия правого и левого, кажутся понятия прошлого и будущего; и положение человека между правым и левым есть тогда временна́я точка настоящего. Я не хочу придавать значения тому, что понятие «настоящее» есть весьма растяжимое понятие. Когда я говорю: «Первобытные люди не знали огня, теперь употребление огня распространено по всей земле», то это «теперь», это настоящее охватывает несметные тысячелетия. Когда я говорю: «Теперь правит Вильгельм II», то объём этого настоящего лежит на несколько лет назад, тогда как его конец не определён, но лишь внутри относительно небольшого числа лет. Когда я говорю: «Теперь он бьёт», то настоящее охватывает так называемое мгновение, в действительности в зависимости от обстоятельств измеримый многими секундами промежуток времени. Психолог, изучающий быстроту чувственных впечатлений и рефлекторных движений, работает с аппаратами, чьё «теперь» ограничивается сотой долей секунды. Но всё же такие различия можно понимать, как чисто степенные различия. Тогда неопределённость выражения лежит в понятиях, а не в грамматической категории настоящего.

Сравнение между временной точкой говорящего и его пространственным положением, которое ставит его в середину между правым и левым, верхом и низом, передом и задом, приводит меня теперь — прежде чем я пойду дальше — к наблюдению, что сообразно с этим также случайностью надо назвать то, что именно категория времени так необычайно богато развилась при глаголе, тогда как категория пространства обозначается довольно бесформенно через наречия. Мы не должны давать сбить себя с толку духовному принуждению, которое оказывают на нас наши известнейшие языки; ещё меньше должны мы принимать как само собой разуме-

ющееся, что глагол ради его развитых временны́х форм в немецком назвали «Zeitwort» (временны́м словом). Языковое развитие могло бы взять столь же хорошо противоположный путь, а именно так, что, например, направление вперёд и назад было бы выражено особыми, соответствующими нашим временным формам пространственными формами глагола, что понятия прошлого и будущего были бы обозначены через более точное развитие наречий «рано» и «поздно». Ведь даже в существующих языках возможность степеней сравнения этих наречий (раньше, позже) в некотором отношении соответствует более сложным временным формам прошлого и будущего.

Когда я здесь, как и во многих других местах, выставляю образование наших грамматических категорий как дело случая, то я хочу этим, разумеется, сказать только, что философское обоснование нашей грамматики есть заблуждение. Эта философская грамматика думает так же, как Гегель, который находит всё действительное разумным, потому что оно есть. Одно дело — объяснять настоящую культуру Европы как можно более исторически, другое — хотеть доказать её как логически необходимую. Язык есть часть этой культуры. Необходима в смысле естествознания, разумеется, и в моих глазах каждая языковая форма, каждое слово, каждый звук; необходима лишь в том смысле, что каждое изменение было необходимых следствием предшествовавших изменений. Как логическая необходимость вообще есть бессмыслица, так и звуковой сдвиг, словообразование и развитие форм не логически необходимы, они все по отношению к миру возможностей лишь случайны. Необходимость не есть закономерность.

В нашем особом случае также легко усмотреть причину, почему именно временные отношения могли оформиться формально, тогда как пространственные отношения всегда должны указываться особо. Мы знаем, что пространство простирается по трём измерениям, к которым затем время представляет четвёртое измерение. Время протекает в одном-единственном направлении, и было гораздо легче представить это единственное направление по его отношениям через одни глагольные формы, чем сложные отношения трёх пространственных направлений. Линию легче измерить, чем плоскость или, тем более тело. В древние времена, когда язык только начал развиваться, каждый мальчик уже мог ясно указать направление с помощью простых знаков. Например, он мог показать, что от хижины до его текущего местоположения двадцать шагов, а дерево находится ещё на десять шагов дальше. Однако отец мальчика, даже если он был учёным своего племени, ещё не мог выразить объём хижины или дерева с помощью языка.

Здесь я вставлю, что раньше я преследовал мысль считать отделение понятия времени от понятия пространства столь же случайным, как и тот факт, что понятие времени выражается в глагольных формах, а не также и понятие пространства. Я устроил себе это примерно так, что четыре измерения равноценны; можно было бы тогда сообща охватить, например, длину, ширину и направление времени и особо трактовать четвёртое измерение по высоте и глубине, как по нашему языковому употреблению именно время. Поскольку я рассматриваю остроумие как излишнюю игрушку человеческого духа, я, вероятно, вправе сказать, что эта мысль остроумна, тем более что я добавляю: она лишь схоластически остроумна, ухищрение, для которого я бессознательно злоупотребил абстрактным понятием измерения. Ибо по нашему неумолимому ощущению и языковому чувству три измерения пространства принадлежат друг другу теснее, чем к четвёртому измерению времени. В трёх измерениях пространства ещё не должно быть движения и изменения; но они движутся как изменение сообща в четвёртом измерении, во времени. В пространстве есть нечто непереходное, во времени есть нечто переходное. Потому та мысль страдает непредставимостью, которая, впрочем, есть сильный недостаток и там, где конструкции новейшей математики (с их пространством n измерений) ведут к подобным ухищрениям.

Мы возвращаемся к утверждению, что и смысл глагольных временны́х форм гораздо неопределённее, чем обычно думают. Более того, я утверждаю ещё больше: а именно, что про-

странственные отношения через наречия могут быть указаны гораздо определённее, чем временные отношения через временные формы глагола. Просто через усиление или повторение наречий. Я сам всегда есмь точка ориентировки, я сам есмь, хотел бы я сказать, точка пересечения системы координат. Я могу тогда совершенно ясно обозначить не только, стоит ли предмет передо мной или позади меня, но и дальше: стоит ли второй или третий предмет, считая от первого, перед ним или позади него, ближе ко мне или дальше от меня. Язык способен без помощи чертежа, например, совершенно точно описать движения на поле сражения. Язык не в равной мере способен однозначно выразить относительное прошлое и будущее. Я буду в дальнейшем, чтобы быть совсем ясным, пользоваться самыми ходовыми обозначениями грамматики.

И во временных указаниях в конце концов исходной точкой служит «я» говорящего.

Для времени, в которое он говорит, будь то мгновение или тысячелетие, мы обладаем языковой формой настоящего. Я уже сказал, что это настоящее может быть весьма неравным. Настоящее — «сверкает молния»; настоящее — также предложение «земля вращается вокруг солнца», хотя это вращение (если астрономы правы) изначально не имело места и однажды прекратится, хотя это настоящее, следовательно, охватывает промежуток времени в биллионы лет. Мы имеем далее для времени, которое предшествует этому настоящему, форму прошедшего: гремит гром, сверкнула молния: масса земли однажды отделилась от массы солнца. Мы имеем наконец для времени, которое предстоит, языковую форму будущего: сверкает молния, будет греметь гром; земля однажды низвергнется обратно в солнце.

Но теперь мы можем при времени, как и при пространстве, брать исход от точки, которая лежит перед нами или позади нас. Если мы измеряем от точки, лежащей позади нас, то мы относим прошлое и будущее к этой точке, так что её относительное будущее для нашего личного настоящего уже есть прошлое. Это не какая-то тонкая конструкция, а самый обыденный языковой обиход в повествовании. «После того как немецкий народ победил Наполеона, он подчинился старым правительствам». Предложение могло бы с таким же успехом или, быть может, лучше гласить: «Немецкий народ победил Наполеона и затем подчинился старым правительствам». Из этого примера видно, что имперфект может иметь свой официальный смысл, а именно смысл лежащего позади нас настоящего, но также и смысл плюсквамперфекта, предпрошедшего. В предложении «немецкий народ победил Наполеона» совершенно неопределённо, имеется ли в виду имперфект или плюсквамперфект. Вспомним сказанное о родстве причастия и прилагательного — и мы заметим здесь, что «быть побеждённым» есть свойство или состояние, которое мы приписываем вещи в прошлом. Если мы не дадим сбить себя с толку нашим языковым формам, то радостно обнаружим полное тождество активного плюсквамперфекта и пассивного имперфекта.

Для будущего, которое относится относительно к прошедшему, у нас нет особого языкового выражения; у нас нет футурума, который соответствовал бы плюсквамперфекту.

В пространственном отношении мы можем это очень хорошо выразить через наречия. Если мы смотрим из Берлина на север, то Италия лежит позади нас; между нами и Италией или ближе к нам лежит позади нас Тироль. В повествовании это либо вовсе не передать, либо только несовершенным описанием. «Он собирался», «он намеревался» и т. д. суть имперфекты, которые лишь неточно имеют значение лежащего позади нас будущего. Всякий рассказчик знает, как часто трудно выразить эту простую мысль. Обычно помогают себе ходовой формой будущего и предоставляют читателю выяснить, имеется ли в виду действительный футурум или относительный футурум, время, которое лежит между имперфектом и нашим настоящим. Из трудности языкового выражения можно, быть может, объяснить, что поэты так редко пользуются этим прекрасным и действенным мотивом. Поэт «Песни о Нибелунгах» имеет пристрастие к этой отсутствующей языковой форме. Уже в первых строфах он дважды пытается найти её выражение.

Он говорит:

«Кримхильда была она названа, она была прекрасной женой, Из-за неё ещё многие воины должны были потерять свою жизнь».

Имеется в виду прошедшее время, которое для начала «Песни о Нибелунгах» есть будущее. И несколькими строфами дальше говорится о рыцарстве в Вормсе:

«Они погибли жалким образом впоследствии от ненависти двух женщин».

Снова мы имеем, следовательно, ясно отпечатавшуюся в представлении временну́ю форму, которая логически точно соответствует плюсквамперфекту и для которой, несмотря на потребность, нет языковой формы.

Но возьмём теперь исход от точки в будущем — тогда дело с формами и со значениями времени обстоит ещё хуже. Для самой исходной точки, то есть для события, которое мы предвидим для этого будущего настоящего, мы не имеем иной формы выражения, кроме обычного футурума. Нам недостаёт, следовательно, того, чего, кажется, ещё никто не замечал, — футурума пророчества, который соответствовал бы имперфекту повествования. Мы должны — что по моему языковому чувству есть неопределённость, сдвиг представления — например, Страшный суд описывать с помощью того же футурума, которым мы высказываем: «В июле я поеду за город». Нам недостаёт повествующего будущего.

Мы обладаем, правда, futurum exactum, предбудущим, иначе чем плюсквамперфектом. Мы обладаем им, но в живой речи почти вовсе не употребляем его, даже в искусственном письменном языке лишь с отвращением. Зато мы не обладаем логически требуемой временно́й формой для будущего, которое лежит от нас ещё дальше, чем будущая исходная точка. Пространственно мы можем выразить, что птица летит выше, чем вершина дерева над нами, которую мы берём за исходную точку. То же отношение во времени мы языково можем выразить опять-таки только через наречия, не через глагольную форму. Представим себе мысль: земля низвергнется обратно в солнце; прежде она потеряет свою собственную движущую силу; после однажды, быть может, новая земная масса снова отделится как туманный шар от солнца. Мы выражаем это через наречия, которые очевидно предлагают нечто вроде пространственных образов. Первое предложение мы ещё можем с грехом пополам обозначить глагольной формой: «Когда земля потеряет свою собственную движущую силу, тогда она низвергнется в солнце». Для последней мысли у нас совершенно нет временно́й формы. Мы должны почти детским языком повторять: «И ещё позже, быть может, новая земная масса отделится».

Неопределённость глагольных временны́х форм, следовательно, как мне кажется, доказана цифрами. Наше положение во времени вынуждает нас выразить по меньшей мере 9 отчётливо отпечатавшихся различных временны́х отношений; мы же обладаем лишь 6 глагольными формами, с помощью которых мы приблизительно говорим то, что хотим. Если бы торговец имел 9 различных сортов вина и должен был бы хранить их лишь в 6 различных бочках, ему не могло бы быть хуже, чем языку с его 6 временны́ми формами. То, что есть ещё и другие времена, как, например, в индийском, греческом и славянском аорист, делает дело лишь ещё запутаннее; ибо всякий специалист знает, как мало определён смысл аориста. Его значения разделили по различным точкам зрения на классы; но грекам различие классов аориста наверняка могло приходить в сознание так же мало, как нам, например, мнимые классы значения родительного падежа. Так что, вероятно, дело обстоит не иначе, как то, что и глагольные формы суть несовершенные попытки заменить тон и жест, которыми говорящие когда-то достаточно неточно выражали временно́е положение своих представлений. Для отношений в пространстве жест мог дольше хватать; его было и есть легче срисовать. Жесты времени могли первоначально быть метафорами знаков «сзади, там, от». Когда бы из этих метафор ни развились формы прошлого, настоящего и будущего, они страдали от неопределённости в том, где принимать это «там», настоящее, и страдают от этого ещё сегодня. Плюсквамперфект и futurum exactum всё ещё имеют нечто от математических формул, они едва принадлежат живому языку; помимо

того, что они должны прибегать к формулам, в которых глагол потерял свой характер и стал прилагательным или именем. Но как мало временны́е формы соответствуют потребности сделать наши представления наглядными для слушателя, полностью следует из широко распространённой привычки представлять все временны́е отношения через первоначальную форму презенса, как только речь становится достаточно живой. Грамматики выходят из положения тем, что говорят: презенс тогда «замещает» повествующий имперфект или какое-либо будущее. Но презенс может выступать также за плюсквамперфект и за futurum exactum. «Блюхер приближается, Наполеон оставляет всякую надежду»; менее живо: «когда армия Блюхера приблизилась, Наполеон оставил и т. д.» или «заключу я сделку, так ты получишь новое платье» вместо: «Когда я заключу сделку, ты получишь новое платье».

Только собственно перфект нельзя выразить через презенс, потому что он ведь и без того есть презенс вместе с ставшим прилагательным глаголом.

Так все 9 временны́х отношений можно выразить единственным презенсом, и неопределённость смысла не больше, чем при употреблении наших 6 форм. Ибо — я должен повторять это снова и снова — определённость представлений, пробуждённых в слушателе языком, происходит не от преимуществ языка, а единственно и исключительно от большей или меньшей определённости в представлениях слушателя, о которых он напоминается звуковыми знаками говорящего. Сопровождающие обстоятельства в его воспоминании или в созерцании дают слушателю приблизительно выяснить отношение времён; ориентируется ли он через единственную глагольную форму или через полдюжины неточно — для живого общения людей почти безразлично.

И даже эта девятикратная неопределённость главной формы глагола, презенса, ещё не исчерпывает неясностей. Неверно, что презенс (кроме случаев, где он означает другое время) всегда обозначает нечто настоящее. Бесконечное множество таких предложений, как: «Собака есть млекопитающее», «Время — деньги», вовсе не имеют дела с временны́м отношением говорящего. Совершенно ложна противоречащая нашему языковому чувству конструкция, когда говорят, что такие предложения значат всегда и для всех времён, следовательно, также для настоящего. Такие предложения, высказывают ли они конкретные или абстрактные суждения, вовсе не заставляют нас мыслить вместе с ними какое-либо отношение ко времени, они безвременны. Различие смысла становится ясным, если мы отделим случайное применение от общего. Если мы в противоположность тьме ночи или плохой погоде незадолго перед тем говорим: «Солнце светит», то это настоящее, потому что мы хотим явно сообщить, что оно светит теперь; если мы, указывая лишь свойство солнца (наше языковое чувство вовсе не противится назвать глагол свойством), говорим: «Солнце светит», то это не настоящее, а безвременность. Предложение не имеет отношения ко времени. «Вино веселит сердце человека»; мы не хотим сказать, что оно веселит всегда, следовательно, и в настоящем, а: что есть безвременное свойство вина веселить. «Солнце светит» для нашего честного языкового чувства не имеет ни малейшего большего временно́го определения или временно́го отношения, чем: светящее солнце (что, правда, ещё называют причастием настоящего), но и не больше, чем: белый снег, синее небо и т. д.; «вино веселит» имеет не больше отношения ко времени, чем «сладкое вино». Мы видим: категория времени, искусственность которой внимательное ухо ещё сегодня ощущает в других временны́х формах, должна была даже к презенсу присоединиться сравнительно поздно; когда глагол и прилагательное ещё имели недифференцированное значение, тогда глагол ещё не был временны́м словом.

Мы читаем с глупой улыбкой у исследователей, изучавших азиатские языки, какие странные категории способны образовывать глаголы многих из этих языков. Вежливость этих народов так велика, что они изобретают категории, которым нет подобных в наших школьных грамматиках. К вежливейшим народам принадлежат японцы, которые, насколько дело касается их языка, не навязывают ни одному знатному человеку, чтобы он сам что-либо делал, был акти-

вен. Японец о высоком чиновнике не скажет даже, что он сам должен есть; даже еда и деятельность, которую должен делать сам даже император Китая, выражается словом, означающим «велеть делать», или пассивом. Для языка корейцев вычислили, что он имеет 27 различных форм для иерархического порядка между высшими, низшими и равными, с одной стороны, и для тона высшего или низшего почтения — с другой.

Но обратим внимание на наш эпистолярный стиль и на тон официальных документов от лесного сторожа вверх до императора и от императора вниз до лесного сторожа. В официальных сообщениях тотчас и без называния лиц узнают, идёт ли речь об императоре, о министре, об обер-президенте, о ландрате или о сельском старосте; даже почти богохульный стиль японцев, не позволяющий знатному человеку самому есть, нам совершенно привычен в ужасном «соблаговолить», когда, например, об императоре бессмысленно высказываются, что он соблаговолил выехать, и менее опытные люди, которые говорят с таким императором, выходят из положения, применяя пассив.

Всюду, где в построение предложения должно быть вделано «высочество», «светлость», «превосходительство», наш официальный стиль имеет загималайские формы, и 27 способов выражения корейской вежливости, которые для Кореи только вычислены, но не показаны в подробностях, несомненно могли бы быть доказаны в немецком писательском деле. Нужно было бы только сделать пробу, нельзя ли из официального акта — без адреса, без подписи и без иных указаний — узнать иерархическую степень как писца, так и адресата.

Парижское языковедческое общество исключило из своей программы две цели исследования: стремление к всеобщему языку и вопрос о происхождении языка. Первое определение само собой разумеется для умных людей; второе также представляется практичным, если принять во внимание, какие несостоятельные вещи произвёл на свет особенно во Франции XVIII век. И сегодня ещё учёные, занимающиеся происхождением языка, подвержены той же опасности. Сера, друг, всякая теория, — это знал уже Мефистофель; мы склонны в каждой теории подозревать словотворчество.

Никакая теория происхождения языка не может полностью освободиться от того, чтобы, во-первых, сводить язык к отдельным словам, затем разрубать отдельные слова на так называемые корни и образовательные слоги, как разрубают зарезанного быка на куски мяса, которые лишь тогда — для мясника и для кухарки — получают свои особые названия. У живого быка нет ни благородного филе, ни плохих частей. Так и в живом языке не будет ни корней, ни флексий, да собственно и отдельных слов. Если бы у нас не было нашей искусственной грамматики, мы обладали бы только предложениями, расчленёнными своеобразными ударениями, а не словами. Грамматический произвол — то, что мы пишем, например, «der Vater» и «des Vaters» и потому воспринимаем их раздельно; в дописьменное время слышали и воспринимали соответствующие формы «dervater» и «desvaters». Меня может только ободрить то, что всякое историческое исследование совпадает с моей критикой логики, в которой я надеюсь доказать, что психологически вывод есть первое, предложение — второе, слово — третье, или что — иначе выражаясь — из слова нельзя развить ничего, чего уже не было бы в нём. Грамматическое рассмотрение учит равным образом, что в какую-то праэпоху всегда уже были предложения, никогда — голые слова, что первый языковой крик уже выражал предложение.

Если это правильно, то разрубание слова на корни и образовательные слоги становится чисто профессионально-техническим удовольствием грамматиков. Образовательные слоги, через которые ведь только корни должны соединяться в гармоничное предложение, являются чистыми привычками младшей аналогии, если уже древнейший языковой крик обладал значением предложения или суждения. Чтобы не потеряться самому в серой теории, я хочу пояснить это несколькими замечаниями и предпослать в качестве эпиграфа известные стихи, которыми Гёте, правда, вероятно, не имел в виду языково-философского трактата. Фауст хочет перевести Библию и уже на первой строке запинается: «В начале было Слово».

«Я не могу так высоко ценить слово. Я должен перевести иначе, Если я правильно просвещён духом. Написано: В начале был Смысл».

Неудовлетворённый, он пробует ещё иначе. «В начале была Сила», — тогда помогает ему дух, и он останавливается наконец на «в начале было Дело».

Если бы дьявол не помешал ему своим воем и лаем, Фауст, быть может, перешёл бы от перевода Библии к библейской критике и просто объявил бы начало Евангелия от Иоанна ложным. В начале было вовсе не Слово, понимаем ли мы его как прилагательное, или как существительное, или как глагол (Дело); в начале было Предложение. Фаусту Гёте уже пришлось столько вытерпеть, что я, пожалуй, могу однажды в шутку так его использовать.

В качестве древнейшего предложения мы представляем себе крик удивления или изумления, который, возможно, ещё состоит в отдалённой языковой и логической связи с нашим «тут!», каковое мы искусственно, пожалуй, можем истолковать как указательное местоимение «это» и которое внутри определённой наличной ситуации могло обозначать какой-либо предмет, свойство, деятельность или что угодно. Языковеды, впрочем, единодушны в том, что большинство других местоимений восходят к древнему указательному местоимению, что указательное местоимение есть древнейшее достояние «индоевропейских» языков, потому что оно обще отдельным языкам и к тому же имеет весьма архаичную флексию. Впечатление глубокой древности, следовательно, всеобщее. Согласно столь приемлемой теории Реньо, это древнее указательное местоимение вообще есть высшее и всеобъемлющее понятие, genus generalissimum. Вполне соответствует нашей теории познания, когда Реньо предполагает, что ближайшие, также чрезвычайно общие понятия соответствовали нашему прилагательному. Первоначально, например, одно указательное местоимение могло обозначать и молнию, и гром, и белый цветок, и красный плод, что — при условии наличной и общей ситуации — было вовсе не более несовершенным языком, чем наш. Затем образовались (нам нет дела до того, из указательного ли местоимения или из новых языковых источников) понятия светящегося и катящегося, белого и красного и т. д. Можно проследить это развитие и дальше — в фантазии, историческое изложение никогда не будет возможно — до возникновения существительного, до соединения существительного с личным местоимением, не обнаружив в этом праязыке даже возможности, даже места для флексии. Предложение могло быть односложным или многосложным, его гармония создавалась — если я так могу сказать — действительностью, ситуацией. Ведь языковому творению не предшествовала грамматика, которая требовала бы гармонической координации членов предложения по роду, времени, числу и т. д., которая вообще разрубала бы предложение на члены. Лишь гораздо позже — время можно без опаски взять очень долгим — лишь при очень большом богатстве предложений, заметьте, не слов, наличие бессознательно оставшихся аналогических образований могло привести говорящих людей к тому, чтобы через дальнейшее развитие аналогии достичь флексий. Под флексиями я, разумеется, понимаю все падежные, спрягаемые и все другие образовательные слоги. Я имею в виду, что в какую-то праэпоху аналогии, которые нам кажутся необходимыми флексиями, должны были выйти наружу как языковые остроты, как словесные игры. Ещё в историческое время есть такие аналогические образования, как, например, когда латиняне часто привешивали окончание -ia к причастиям, оканчивавшимся на -ent (prudentia, sapientia, clementia), и таким образом усвоили представление, что конечный слог звучит -tia, и потому говорили amicitia (от amicus). Примеры из современного языкового развития также не отсутствуют в другом месте. Я замечаю мимоходом, как опасно должно быть вносить систему в флексии доисторического времени, если мы видим, как такие вводящие в заблуждение словесные игры почти на наших глазах приобретают языковую силу (ср. II. 133 и след.).

Эти два замечания, быть может, помогут нам представить возникновение флексий несколько менее неестественно, чем это сделала грамматика и должна была сделать со своей точки зрения. Её попытки объяснения каждый раз содержат предпосылку, что к правильному

языку принадлежит столько-то и столько-то падежей существительного, столько-то и столько-то лиц, чисел и времён глагола и что дело лишь в том, чтобы образовать все эти флексионные формы удобным и обозримым способом. На этом пути после тысячелетнего господства грамматики может быть изготовлен волапюк; язык не мог так возникнуть. Ведь очевидно, что ныне принятой грамматике должно было предшествовать время, в котором правила грамматики были ещё латентными или бессознательными, а этому — снова более древнее время, в котором грамматические обыкновения только ещё развивались, а этому — снова древнейшее время, в котором ещё вовсе не было грамматики или аналогии, в котором из ситуации каждое предложение имело свою безаналогичную языковую форму. Равным образом ведь более чем вероятно, что эпохе обычая, предшествующей эпохе закона, в которой культура бессознательно следовала обычаям, должно было предшествовать время, когда такие обычаи развивались из своих первых начатков. История языка приходит нам здесь на помощь, когда сообщает нам, что пять или семь падежей, которые мы теперь так аккуратно различаем, или многие глагольные формы развились из несметного числа случайных форм. Дадим нашей словотворящей фантазии немного поиграть — и кажется вполне наглядным, как в праэпоху вовсе не было флексий, как когда-то словотворение, например, при различных падежах одного и того же существительного могло всегда начинаться с новых словообразований. Я выдумываю здесь совсем фантастические примеры, потому что мне важно лишь показать возможность такого развития. Если крик удивления или указательное местоимение развились в имя для восходящего солнца, то вздох сожаления мог развиться в имя заходящего солнца; следовательно, одно и то же солнце в зависимости от своего положения могло иметь два различных собственных имени. Я намеренно воздерживаюсь указывать на родственные факты языка. Равным образом незрелый плод мог обозначаться другой основной формой, чем зрелый. Это должно было быть столь же близко наивному воззрению каких-либо первобытных людей, как нам привычка говорить телёнок, корова, бык и т. д. В этих различных основах слова для различных местоположений, жизненных положений, возрастов, полов предметов скрыты, однако, категории наших флексий. Аналогические образования лев — львица, лев — львёнок и т. д. при древнейших и употребительнейших собственных именах животных вовсе не присутствуют. Это очевидно более молодые языковые образования. Так мы вправе также предположить, что общность слова «солнце» для восходящего и заходящего светила в какую-то древнейшую эпоху была новым языковым творением. Определяющие слова «восходящее» и «заходящее» суть лишь обозначения места или направления, как флексионные слоги падежей.

В китайском местоимение второго лица совпадает с союзами для местной и временно́й близости, далее с выражениями для сходства. Это кажется нам столь абсурдным, что мы сначала тщетно ищем родственные явления. Но можно было бы представить себе поэта, который сочинил бы: одна роза стояла так близко к другой, что говорила ей «ты». И наоборот, мы говорим на диалекте о прекрасной картине, о превосходном плоде: тут я должен сказать вам «ты».

С такими явлениями и со старыми, предшествующими всякому аналогическому образованию, в известном смысле неграмматическими и сверхобильными словами, как телёнок, корова, бык и т. д., я полагаю теперь, мне можно снова привести в связь известный факт, что древнейшие и наиболее упражняемые грамматические ряды также выражаются без помощи флексий через различные основы слова — в немецком, как и в других языках. «Bin — war — gewesen», «gut — besser» поражают излишним употреблением новых основ; при «besser» вместо старого «bass» особенно ясно, как флексия сравнительной степени впоследствии присоединилась к ставшей непонятной сравнительной степени наречия «gut». Это то же явление, как когда бывшие сильные глаголы в немецком принимают так называемую слабую флексию. Аналогическое образование победоносно наступает. К этому бесфлексионному развитию рядов понятий я хотел бы причислить также группы «я, ты, он», «мы, вы, они», далее столь архаич-

ные числительные от одного до десяти. Сознательный творец языка, стоящий на грамматике, наверняка изобрёл бы всё это с помощью флексий.

Было весьма невероятно, что историческое языковедение предоставит нам возможность проиллюстрировать фантазию о языковом творении, осветить в глубь времени, в котором бесфлексионный крик всё же мог иметь грамматическое значение предложения. И всё же я теперь нахожу второй пример настолько подготовленным, что хотел бы осторожно его привести. Речь идёт о бросающемся в глаза сходстве между звательным падежом существительного и императивной формой глагола. Оба можно рассматривать как бесфлексионные формы. Если бы мы могли совсем освободиться от нашей привычки исходить от инфинитива и от именительного падежа, то мы поняли бы, что звательный падеж и императив являют древнейшие формы существительного и глагола. Об этом историческая грамматика знает милые подробности. В доисторическое время, когда категории существительного и глагола были так же мало налицо, как сегодня в китайском, одна и та же звуковая группа могла, разумеется, выражать звательный падеж и императив, и притом так, что слушатель должен был отождествить субстантивную и глагольную форму. Вспомним же, что язык между людьми мог исходить не из чего иного, как из призывающего оклика, — тогда мы обладаем в нашем «ты» чем-то вроде побочной формы к genus generalissimum, указательному местоимению «тут» или «это», побочной формой, которая не через флексию, а через новое слово одновременно внесла в язык звательный падеж и императив.

Если мы удержим нашу фантазию о возникновении языковых форм и т. д., то после последнего примера мы, быть может, в состоянии объяснить возникновение падежных форм всё же правдоподобнее, чем это сделало новое языковедение, находящееся под влиянием санскритологов. Оно, как известно, разделило языки на бесфлексионные, агглютинативные и флективные; оно представляет возникновение наших флективных языков так, что предшествовало китайское состояние односложности, что следовало приклеивание основ, которые затем ослабились до образовательных слогов. Помимо того, что бесфлексионность китайского в новейшее время выглядит скорее, как конец, чем как начало развития, что наши культурные языки (особенно английский) приближаются к бесфлексионности, — также вовсе не видно, как падежные и временны́е формы могли быть искусственно образованы прежде, чем была грамматика. А грамматики в нашем смысле опять-таки совершенно не могло быть прежде, чем существовали её формы. Из этой дилеммы, быть может, поможет представление, которое я с «мужеством ошибаться» предлагаю философам языка. А что если не существительные определялись ближе падежными обозначениями (mutatis mutandis глагольными формами), а падежные окончания — существительными? А что если мнимые падежные окончания были гораздо более древними и общими словами, чем множество существительных? Я представляю это так: если указательное местоимение «тут» или «это» было genus generalissimum, то обозначения для локальных отношений (метафорически применённые к временны́м отношениям) «сюда, туда, к, прочь, вверху, внизу и т. д.» могли быть очень общими понятиями, которые в праэпоху из ситуации достаточны были для взаимопонимания между людьми. Могло — чтобы оставаться в фантазировании — общее понятие удаления в противоположность общему понятию приближения означать, например, аблатив против аккузатива, второе лицо против первого, прошедшее против будущего. То, что субстантивные и глагольные формы при этом смешиваются, для столь древнего времени скорее поддержка гипотезы, чем ошибка. В указательном местоимении, которое стало словом, выражалась ситуация, в которой находился говорящий.

Когда этот бедный язык перестал соответствовать богатству растущей душевной ситуации, когда слова направления были ближе определены через тем временем возникшие существительные, прилагательные или глаголы, стали аналогическими флексионными слогами, тогда значение этих старых слогов направления было впоследствии дано через мир действительности, и так должно было, разумеется, случиться, что наши перечисленные в грамматике

падежные формы обнаруживают такую несвязную полноту значений, как, например, наш родительный падеж. Неопределённость всех грамматических категорий была бы тогда объяснена из их происхождения.

Где эти старые слова направления (которые большей частью бросаются в глаза своей архаичной чеканкой) сохранились, там они обнаруживают ту же несвязную полноту значений, как образовательные слоги падежей. Стоит только подумать почти о неограниченном употреблении наших слов «von» и «vor». И кажется, будто язык вовсе не мог бы отказаться от метафорического употребления слов направления. Во французском и особенно в английском возвращение почти завершено; слова направления, которые некогда, быть может, составляли язык, которые затем стали падежными обозначениями, в конце концов выпали в конце слов после медленного ослабления и стоят теперь широко и тяжело в той же службе перед словами как безударные падежные знаки. И даже тысячелетнее разделение существительных и глаголов не мешает тому, что те же слова направления, и в том же значении, всё больше и больше ставятся перед глаголами. Я полагаю, что могу ясно представить, что общее понятие «в» или «туда» когда-то из ситуации достаточно было, чтобы понятно выразить, что-либо говорящий хочет идти в определённое место, либо слушатель должен туда пойти. Большее богатство образования ситуации могло затем привести к тому, чтобы этот общий термин, охватывавший глагол, существительное и интерес направления, объяснить дальше. «Идти — город — туда» означало не больше, чем одно «туда». Языки могли упорядочивать понятия как хотели (ire urbem, ire in urbem, inire urbem, inire in urbem), слово направления, предшественник флексионных слогов, было единственно достойным высказывания, почти хотел бы я сказать, единственно высказываемым; все остальные составные части предложения были лишь заменой некогда наличной ситуации.

II. Глагол

К пониманию того, что категориям логики или грамматики, что частям речи в мире действительности ничто не соответствует, что в особенности глагол деятельности или времени не передаёт простого восприятия, Лессинг, зависящий от психологии своего времени, не мог прийти. Он ведь умер в том году, в котором появилась «Критика чистого разума» Канта; а основополагающие исследования Локка он, несмотря на обстоятельные занятия Лейбницем, дальше не продвинул. Тем поразительнее, как Лессинг через одну из своих решающих идей, через определение границ между поэзией и живописью, приходит к дефиниции действия, которая почти дословно совпадает с психологическим пониманием понятия деятельности. Эта дефиниция, которая собственно уже предвосхищает его «Лаокоон», находится в его трактате о басне 1759 года.

«Действием я называю последовательность изменений, которые вместе составляют целое. Это единство целого покоится на согласовании всех частей к одной конечной цели».

Эту конечную цель Лессинг, правда, видит в моральном положении, для которого была изобретена басня; но познавательно-теоретическая ценность дефиниции далеко выходит за пределы этого морального применения. Лессинг высказывает это тотчас же: он мог бы выдать за безошибочную пробу то, что басня плоха, что она вовсе не заслуживает имени басни, «если её мнимое действие целиком может быть нарисовано». В этих немногих словах, как сказано, лежит руководящая мысль «Лаокоона», в котором Лессинг лишь немного позже со всей своей проницательностью замечает уже языково-философскую сторону дела.

Он подходит к этой философской стороне вопроса в 16-й главе «Лаокоона» и вполне сознаёт значение; ибо он начинает разбирательство словами: «Однако я попытаюсь вывести дело из его первых оснований». Лессинг настолько углубился в первые основания своих эстетических вопросов, что «Лаокоон» сверх своего намерения стал вкладом в философию языка.

Уже во вводных фразах произведения, в которых он гордо скромно сетует на случайное возникновение и недостаток порядка в работе, он мимоходом говорит нечто такое, что я хотел бы сделать одним из эпиграфов моей критики языка. «В систематических книгах у нас, немцев, вообще нет недостатка. Из пары принятых объяснений слов в прекраснейшем порядке выводить всё, что мы хотим, — в этом мы разбираемся, несмотря ни на какой народ в мире».

Это презрение ко всякому словотворчеству (которое в великолепной 10-й главе «Лаокоона» поднимается до понимания того, что и знаковый язык антикизирующей живописи может быть пустой маскарад, игра с мёртвыми символами) должно было быть столь близко автору «Лаокоона», потому что первые основания всего исследования лежали в области средств выражения. Где он подходит к этому вопросу, там мы одновременно дивимся проницательности необыкновенного человека и оплакиваем недостаточную психологию его времени. Он говорит: «Если верно, что живопись для своих подражаний употребляет совсем иные средства или знаки, чем поэзия, — а именно фигуры и краски в пространстве, поэзия же — членораздельные звуки во времени; если бесспорно, что знаки должны иметь удобное отношение к обозначаемому, — то упорядоченные рядом знаки могут выражать лишь предметы, которые существуют рядом или части которых существуют рядом; но следующие друг за другом знаки — лишь предметы, которые следуют друг за другом или части которых следуют друг за другом». Лессинг говорит затем далее, что предметы, которые следуют друг за другом или части которых следуют друг за другом, называются действиями; что, следовательно, действия суть собственный предмет поэзии. Он выводит отсюда знаменитое заключение, что живопись поэтому может использовать лишь единственный миг действия и потому должна выбирать самый выразительный, из которого предшествующее и последующее становятся наиболее понятными. Само собой разумеется, что Лессинг при всех этих изложениях думает лишь о таких изображениях изобра-

зительного искусства, которые именно хотят изображать действия, что «Лаокоон» Лессинга поэтому гораздо лучше подходит к гомеровским поэмам и к картинам по Гомеру, чем к современным картинам настроения и современной поэзии настроения. Но как Лессинг всегда своими мысленными молниями светит далеко вперёд, так он уже высказал и то слово, которым мы хотели бы критиковать его точку зрения.

Быть может, он пришёл к мысленной молнии, которую я имею в виду, благодаря тому, что теория «Лаокоона» едва ли не казалась направленной против какого-либо иного знаменитого произведения его времени так сильно, как против «Весны» его милого друга Клейста. О господине фон Клейсте он усердно уверяет, что тот, если бы прожил дольше, придал бы этой живописующей поэзии иную форму; «он (это слова Мармонтеля) из ряда картин, лишь скупо пронизанного чувствами, сделал бы череду чувств, лишь скупо переплетённую картинами». В этой связи Лессинг цитирует место из не менее знаменитой живописующей поэмы, из «Альп» Галлера. Лессинг хочет сделать возражение, что описание Галлера не даёт представления тому, кто всех этих трав и цветов ещё никогда не видел. И здесь Лессинг внезапно нисходит к первым основаниям, когда он с одним из своих достойных восхищения самопрерываний восклицает: «Может быть, все поэтические картины требуют предварительного знакомства с их предметами. Я не хочу также отрицать, что тому, кому такое знакомство здесь идёт на пользу, поэт мог бы возбудить о некоторых частях живое представление».

Здесь, в этом пункте, должна была бы начать новая психология, если бы она захотела за пределами Лессинга отважиться установить границы между живописью и поэзией. То, что Лессинг здесь как бы ослепляющей его молнией осветил, позволяет нам сегодня понять связь между средствами выражения живописи и поэзии, с одной стороны, связь между действием и его языковым знаком, между миром действительности и глаголом, между содержанием сообщения и языком. Ибо мы ведь знаем, что не только все поэтические картины требуют предварительного знакомства с их предметами, но что всякое сообщение (совершается ли оно через видимый язык, или живопись, или через звуковой язык) есть лишь воспоминание, следовательно, всегда и при всех обстоятельствах предполагает предварительное знакомство. Критик языка по крайней мере научился тому, что в членораздельном слове звукового языка никогда не лежит ничего иного, кроме воспоминания о чувственных впечатлениях, и что также живопись или рисунок есть искусственная и до известной степени конвенциональная артикуляция того, что глаз столь совсем иначе видит в действительности (ср. I. 46).

В особенности действие, которое Лессинг в своём трактате о басне так великолепно определил и которое он так просто мыслит представимым через глагол, мы узнали, как нечто такое, что словами вовсе не описать. Мы знаем, что мы, например, словом «копать» объединяем несметное число минимальных телесных движений под человеческой точкой зрения некоей цели. То, что происходит в мозгу при виде картины и при слушании соответствующего глагола (средства выражения для действия, для объекта поэзии), следовательно, вовсе не так различно. Из мгновенного образа, например, в картине Ж. Ф. Милле приходит к нам воспоминание, что копающий человек однажды тоже являл этот вид; слышим ли мы слово «копать», оно, правда, обозначает не отдельный миг, а весь комплекс целесообразных движений, но оно всё же даёт для описания деятельности не больше, а меньше, чем картина. Оно даёт невидимую цель комплекса движений как средоточие воспоминания о бесчисленных частичных движениях. И если бы говорящий человек, поэт, захотел теперь сделать больше, чем живописец, и, как требовала бы теория Лессинга, вместо невидимого понятия цели перечислить частичные действия и так попытаться описать совокупное действие, — то вскоре обнаружилось бы, что действия через язык не описать, что представление о действии через такое точное описание становится лишь всё более неотчётливым. Или, вернее: сложное действие (например, седлание или, чтобы остаться у Гомера, запрягание коней) либо знаком слушающему человеку, либо чуждо ему. Если оно ему чуждо, то описание, перечисление частичных действий будет со

стороны говорящего человека не собственно языковым сообщением, а новостью; он пожелает лучше видеть весь процесс практически перед собой, потому что он едва ли способен следовать описанию. Если же слушающему человеку комплекс действия знаком, то описание, перечисление частичных действий покажется ему скучным до смешного. Представим себе однажды, что эпический поэт пришёл бы на сумасшедшую мысль заменить глагол «он шёл», потому что он ведь указывает лишь цель-средоточие и производит лишь иллюзию действительного образа, описанием ходьбы, каким она стала известна анатомически благодаря братьям Вебер, фотографически благодаря Аншютцу. Поэт мог бы теперь поставить ряд страниц на место простого «он шёл»; каждое отдельное движение аппарата из костей, сухожилий, нервов и мышц он мог бы, с математикой или без неё, заставить следовать друг за другом. Наши учёные назвали бы это объяснением ходьбы. В действительности же это, разумеется, было бы не объяснением, а лишь описанием, описанием же опять-таки лишь для представления анатома или физиолога, который обладал бы «предварительным знакомством» с частичными действиями; для неподготовленного слушателя это было бы противоположностью описания. Он после чтения всего перечисления частичных действий скорее поверил бы, что лицо занималось гимнастикой, чем что оно шло. Ибо не только поэзия как словесное искусство, но язык вообще предполагает, как мы знаем, предмет сообщения как известный — чтобы наконец-то выразить эту мысль как можно резче. Именно глагол как средство выражения действия очень важен для этого познания. Прилагательные «зелёный», «сладкий» и т. д. не оставляют, правда, сомнения в том, что никакое описание не могло бы дать представления о зелёном, сладком и т. д. тому, чьи зрительные нервы, вкусовые нервы и т. д. не функционируют. Но это нам вовсе не кажется более примечательным, потому что это должно было быть ясно прежде всякой психологии, потому что — добавляю я — непосредственные чувственные впечатления всегда прилагательны и потому никогда не могут быть заменены описаниями. При существительных заблуждение уже скорее возможно; верили, что представление о слоне можно возбудить в школе прилагательными описаниями, пока новейшая педагогика не объявила во всех таких случаях наглядное обучение необходимым. Наглядное обучение пытается через мило раскрашенные картины привить детям и деятельность ремесленников. Тщетное усилие! Никогда ребёнок не сможет составить себе представление о деятельности ремесленника, если он не посетил его мастерскую. Через одно описание деятельности нельзя обучить ни сапожника, ни пловца; но и не-сапожнику и не-пловцу нельзя через одно описание дать представление о деятельности. Действия не могут быть собственным предметом поэзии, словесного искусства, потому что деятельности через слова описываются хуже всего. Поэзия уже по этой причине может изображать всегда только душевные настроения, которые поэт (бездеятельно, действуя или по отношению к другим действующим лицам — лирически, драматически или эпически) чувствует и которые он хочет снова возбудить в читателе.

Последнее развитие европейской поэзии совершилось революционно, без того чтобы кто-либо из поэтов или теоретиков подозревал, что переворот состоит в какой-либо связи с познавательно-теоретическими вопросами нашего времени. Я хотел бы поставить задачу исследовать эту связь читателю этой критики языка. Самые даровитые из современных поэтов отказываются от единственно спасительного действия даже в драме, не говоря уже о романе, и позволяют угадывать действие больше из настроения своих лиц, которых они ведь только и знают; и опять-таки характеры этих лиц они изображают лишь косвенно, потому что язык больше не может; и они отказались выставлять образцовые картины человеческих групп, потому что они ведь знают только индивидов и потому что типического языка для типов вовсе нет, а есть только индивидуальные языки. Было бы печально, если бы проба на примере не удалась, если бы новейшее развитие словесного искусства противоречило критике языка.

Познавательно-теоретические исследования привели нас к пониманию того, что прославленные категории бытия суть всё же лишь абстрагированные из наших индоевропейских

языков части речи грамматики и что эти части речи не конгруэнтны ни миру действительности, ни нашим чувственным впечатлениям от него. Мы видели, что наши восприятия вещей гораздо скорее прилагательной, чем субстантивной природы, и что глагол пытается выразить отношения в пространстве и времени, примерно изменения, то есть сравнения, что мы же о деятельностях и состояниях непосредственно вовсе ничего не знаем. Теперь психологические исследования на совсем ином пути приводят нас к тому, что глагол также языково излишен для восприятия или сообщения действия. При эллиптических формах, как «Вон!», «На коня!», «Скорее!» и тому подобное, ведь известно, что глагол дополняется из ситуации. Но это не следует понимать так, как языковые педанты, будто говорящий умалчивает и слушатель дополняет определённый глагол, например актёр должен выйти «вон», назойливый посетитель должен выйти «вон». Можно было бы, если уж формулировать порядочное предложение, в каждом таком случае допустить глагол «делать», который ведь так часто как общее обозначение какой-либо деятельности употребляется почти как флексионный слог. Языковой обычай допускает, правда, считающиеся неблагородными обороты, как «отправиться в Швейцарию», «сделать Шрекхорн». Вероятно, и латинское proficisci (путешествовать) возникло из facio (делать). «Делать» тогда означает не больше, чем глагольный конечный слог, который, например, в немецком из «Sattel» делает «satteln», из «zwei» — «entzweien», из «Schriftsteller» — «schriftstellern». Ни «делать» в смысле путешествовать, осматривать, восходить и т. д., ни глагольный конечный слог не выражают определённой деятельности в том ограничении, в каком, например, прилагательные «зелёный», «большой», «громкий» обозначают определённое чувственное впечатление. Наши примеры охватывают сразу три вида так называемых деятельностей. «Седлать» произведено от существительного, которое становится объектом изменения; «раздваивать» — от слова, которое становится целью деятельности; «писательствовать» сравнивает образ жизни с образом жизни определённой профессии и содержит нюанс, что сходство не совсем подходит. (Для этого и для последующего: Wegener S. 138—150).

Лучшие, я хотел бы сказать, настоящие глаголы, временны́е слова (потому что ими хотят выразить изменение во времени) не могут быть переданы художественными средствами живописца. Седлание длится, быть может, несколько минут, а живописец, как известно, может передать лишь единственный миг. Всё же всадник по хорошему рисунку кавалериста рядом с его конём тотчас увидит, хочет ли кавалерист садиться или слез, или он как раз совершает действие седлания. Его знание дела истолковывает ему ситуацию мгновения. Теперь обычно говорили, что протекающий во времени язык может изображать действие, что он даже (в поэзии) смеет изображать не что иное, как действие. Лессинг в своём «Лаокооне» обосновал границы между живописью и поэзией на этом различии пространства и времени. Теоретически психология прошлого века не могла ничего против этого возразить; теория Лессинга была многозначительным прогрессом против живописующих поэзий его времени. Но новейшая психология позволяет нам понять, что и глагол, в котором Лессинг должен был бы видеть главное слово поэтического изображения, вызывает лишь ситуационный образ, из которого наше знание дела конструирует изменение в пространстве или во времени, деятельность. Произведённые от существительных глаголы особенно поучительны для этого. «Седлать» содержит две составные части: существительное «седло» и конечный слог, который вызывает так называемое глагольное представление; слово означает примерно: делать что-то с седлом, предпринимать что-то с седлом, заставлять положение седла стать иным, чем оно было прежде.

Мы уже показали, как наше восприятие вовсе не различает несметные движения пальцев и рук или даже мышечные раздражения и иннервации, например, при копании или вязании, как наше восприятие из одного мгновенного ситуационного образа или из нескольких таких лишь комбинирует действие, как лишь понятие цели, которое мы вкладываем в бесконечный ряд минимальных движений, которое мы при них предполагаем, получает как действие языковое выражение. То, что мы воспринимаем чувствами при седлании, при пахании, при копа-

нии или вязании, ни в одно мгновение не есть нечто, что было бы сколько-нибудь похоже на действие. Наши восприятия — как сказано — всегда прилагательной природы. Наш интерес — при известных обстоятельствах вместо прилагательных «красный», «мягкий», «сладкий», «сочный» замечать общую причину этих прилагательных, так называемую вещь, и называть её яблоком. Наш интерес — опять-таки то, что побуждает нас объединять восприятия, соединённые понятием цели, также через глагол. При существительном мы предполагаем в мире действительности по крайней мере субстанцию, которая есть предшествовавшая общая причина прилагательных. При глаголе общее, цель минимальных изменений, то есть смысл глагола, в мире настоящего совершенно несомненно не присутствует. Глагольное в процессах уже по этой причине не может собственно сообщаться, настоящий глагол вообще невозможен; глагольные формы лишь побуждают нас слышать деятельность и тому подобное из слов или вкладывать в них, то есть направлять наше внимание больше на изменение ситуации, чем на саму ситуацию.

Нечто от действительного или возможного изменения ситуации мы имеем в виду и при глаголах, которые не выражают деятельностей. Неизменное состояние зелёного леса называется в языке «лес зелёный»; если я говорю «лес зеленеет», то я сравниваю теперешнее состояние с серо-бурым цветом зимой. (То, что мы, если бы языковой обычай последовал за прогрессом науки, должны были бы и состояние обозначать через «лес зеленеет меня», сюда не относится.) Глагол в «книга лежит на столе» говорит не совсем то же, что, например, в «книга толстая»; в лежании намечается возможность (при известных обстоятельствах вполне ощутимая), что книга надёжно покоится и не упала вниз.

Мы уже знаем господствующее значение, которое метафора имеет для развития, то есть для возникновения языка. Ни по чему не узнаёшь колебание значений слов, их «à-peu-près» так точно, как по тому, что слова сравнительно завоёвывают объём своего смысла. При метафорическом применении слов, из которого в конце концов произошёл весь словарный запас, в человеческом мозгу должно присутствовать неуверенное, качающееся ощупывание между двумя сравниваемыми предметами, ощупывание, которое остаётся скрытым и в окончательном употреблении слов, после того как сравнение исчезло из языкового сознания; всё же существительное, после того как его метафорическое происхождение стало бессознательным, указывает на более или менее чувственное представление. При глаголе это сравнивание никогда не прекращается, это качающееся ощупывание, это блуждание точки зрения, потому что мы никогда не можем воспринять или представить деятельность, потому что всегда есть нечто вроде понятия цели (при существительном — причина), которое заставляет наше внимание быстро скользить над несметными минимальными частичными действиями и лишь из сравнения начальной и конечной ситуации приходит к понятию деятельности. Нам от этого вечного сравнивания ничего не осознанно. Но примем во внимание, что только знание дела позволяет нам понять понятие деятельности, что точки сравнения должны быть слушателю точно так же налицо, как говорящему, если он хочет вложить в услышанное слово то же понятие деятельности, — тогда нам станет ясно значение этого обстоятельства. Если люди уже под существительными никогда математически точно не мыслят одно и то же, то различие будет ещё больше при глаголах, потому что там нужно сравнивать несколько ситуационных образов и каждый отдельный ситуационный образ уже в каждой голове иной. Следствие этого — что временное и пространственное расстояние изменяет представление одного и того же глагола. Немецкий кавалерист седлает иначе, чем казак, американец пашет иначе, чем древний египтянин. Возьмём однажды слово «зуб». Негр свяжет с ним несколько иное представление, чем китаец; акула (если бы она могла говорить) — иное представление, чем человек. Теперь «зуб» вероятно через звуковой сдвиг произошёл от слова «едящий». Но представление еды ещё гораздо более неравно у разных народов. Несомненно было время, когда люди, как животные, «жрали», примерно с помощью своих рук, как обезьяны. Еда означала тогда главным образом «разрывать зубами и жевать»; «едящий» был тогда действительно зуб. Теперь действие еды стало сложнее.

Кто сегодня в городе приглашён на «еду», у того глагол распадается на множество частичных действий, из которых я хочу выделить лишь некоторые: делать туалет, собираться в большом числе, садиться (перед богато накрытым столом), открывать салфетку, пользоваться ложкой и вилкой (к тому, быть может, ещё ножом для устриц, ножом для сыра, ножом для фруктов и т. д.), пользоваться различными тарелками, различными стаканами и т. д.; всё это может выражать глагол «есть». Но и простой человек не иначе представляет себе еду, как с ложкой и вилкой. Если он слышит теперь о еде гомеровских героев или о еде китайских мандаринов, то он подсовывает грекам и китайцам знакомый ему ситуационный образ, потому что он не знает, что греки не знали ни ложки, ни вилки и что китайцы при еде употребляют палочки. Окружающая простого человека действительность стала автоматическим употреблением ложки и вилки; в его мышцах и нервах, следовательно, и в его мозгу, это отражение действительности отражается как навык. Слышит он слово «есть», то он переносит этот нервный образ своей деятельности в предложение.

Считается само собой разумеющимся, что временно́е отношение предложения прежде всего выражается временны́ми формами глагола; и притом временно́е отношение всегда относится к субъекту — либо к субъекту предложения, либо к субъекту, высказывающему предложение. Этот субъект представляет настоящее. Говорящий всегда настоящ, грамматический субъект либо мыслится как настоящий, либо сравнивается с настоящим говорящего. Так каждое возможное предложение, с одной стороны, имеет временно́е со-значение; с другой стороны, всегда прямо выражается лишь отношение к настоящему, то есть прошедшее или будущее. Для собственно настоящего, не говоря о (III. 43) упомянутой безвременности, глагол имеет так же мало непосредственного выражения, как существительное для случая безотносительности. То, что мы называем именительным падежом и презенсом, вероятно, есть более высокая и поздняя формация, чем дательный и винительный падежи, чем перфект и футурум.

Мы только что видели, как неопределённость грамматического смысла становится видимой и в безвременном презенсе.

Зигварт (I. 90) обращает внимание на то, что презенс означает нечто различное, смотря по тому, высказывает ли он тот же предикат о понятии или о вещи. Совершенно верно. «Звёзды светят» (то есть звёзды узнаются именно по тому, что они суть светящиеся точки) означает нечто совсем иное, чем «звёзды светят» (то есть теперь, как я только что вижу, они светят, небо, следовательно, не облачно). Первое можно сказать и днём, второе — нет. Первое есть совершенно пустая тавтология, потому что мы со-представляем свечение, когда слышим «звёзды»; второе есть тавтология иного рода, потому что на сомневающийся вопрос, не облачно ли небо, нам нужно было бы ответить лишь «звёзды» или «На небе есть звёзды». Свечение принадлежит к этому или, вернее, есть предпосылка нашего видения.

Презенс обозначает, следовательно (ср. S. 44), в одном случае настоящее, то есть собственно мимолётное мгновение, в другом — вечную длительность в прошедшем и будущем. Или, быть может, язык был настолько остроумен, что там и здесь хотел обозначить презенсом безвременность? Едва ли. Остроумие языка никогда не есть словесное остроумие; настолько глуп, как словесно остроумные люди, он всё же не бывает.

Своеобразие глагола — с одной стороны, всегда указывать временно́е отношение, с другой — не само настоящее, а всегда лишь отношение к настоящему — соответствует тончайшим результатам теории познания. Каждое предложение должно носить в себе временно́е определение, потому что мы не способны познавать мир иначе, как на канве времени (и пространства). Но мы не знаем настоящего в буквальном смысле, потому что настоящее всегда есть лишь математическая точка между прошедшим и будущим, никогда не обладание, а в миг схватывания уже потерянное обладание. Психофизические эксперименты достаточно доказали, что простейшее ощущение требует времени, чтобы дойти до нашего сознания. Как мы, по учениям современной оптики, видим свет неподвижных звёзд, который годы тому назад отправился в

путь к нам, так мы чувствуем укол иглы как настоящий лишь тогда, когда он уже принадлежит прошедшему. Настоящее, следовательно, только в нашем мозгу или нашем сознании, не в нашей действительности. Педантично мы должны были бы говорить «сверкнуло» и не «сверкает», как римляне, которые, мысля себя в духе адресата, датировали назад события, сообщаемые письменно.

Для понимания недостатков языка особенно поучительно, что он вводит в заблуждение и в своей собственной области. Грамматика есть не что иное, как языковой обычай, приведённый к абстрактным правилам; и даже для правил о языке язык не достаточен. Мы только что узнали, что собственно настоящего нет; мы должны предположить, что недифференцированный глагол, который сегодня обозначает у нас так называемое настоящее, достиг этого значения лишь на более высокой ступени развития человеческого духа. Напротив, мы более чем однажды повторяли положение, что животные знают мало или вовсе ничего о прошедшем и будущем и всецело прикованы к настоящему. Очевидно, что мы там и здесь употребляем понятие настоящего в различном, даже противоположном смысле. Ибо иначе животное должно было бы стоять перед миром действительности с лучшей ориентировкой, чем человек. Однако мы не можем отчётливо схватить различие в употреблении понятия настоящего, потому что нам не хватает для этого слов. Дело обстоит примерно так. Настоящее, к которому прикованы животные, есть действительность, которая всегда настояща. Так и растения должны ощущать действительность как настоящую. Другое настоящее, грамматическое или логическое настоящее, как математическая точка встречи между прошедшим и будущим, не действительно, оно только в нашем сознании, только в нашем языке. В действительности-настоящем животных и растений момент прошедшего всегда порождает момент будущего; это настоящее текуче. В грамматическом или логическом настоящем сделана попытка остановить течение времени, выставить гипотезу застывшего мгновения неизменности. Принадлежит ли пространство мира действительности, временно всегда настоящее, к материалу чувств — этого мы не знаем; мы знаем только, что всегда материалистический язык должен понимать пространство как застывшее в настоящем. Это представление о не существующей в мире, необходимой для нашего понятийного мира застывшей неизменности есть существенное в грамматическом настоящем; оно может рядом с этим выражать возможно более математический момент, как когда экспериментатор в психофизической лаборатории языково или через иной знак сообщает, что он теперь чувствует электрический удар; оно может обозначать нечто вроде безвременной длительности, как в бесчисленных определениях понятий: «Земля есть планета». Между этим любая возможная временна́я длительность, если только понимать изменяющуюся в ней действительность как относительно неизменное единство, будет обозначаться через настоящее: теперь десять часов, теперь день, теперь третье мая, теперь май, теперь весна, теперь 1899 год и т. д.

Человеческий язык или мышление, следовательно, весьма вероятно исходили из доязыкового настоящего действительности и лишь после долгого пути абстракции нашли выражение для языкового настоящего, для грамматического настоящего. В языке, следовательно, форма для прошедшего и будущего была раньше, чем ясная и сознательная форма для настоящего. Факты истории языка, кажется, то подтверждают это понимание, то опровергают его, но пользоваться ими нужно с осторожностью. Так, семитские и древнеславянские языки имеют определённую форму только для настоящего и для прошедшего, и говорят, что они выражают будущее через настоящее. Что это значит: язык выражает будущее через настоящее? Это ведь лишь тщетное словотворчество. Даже в наше время презенс бесконечно часто, как в разговорном языке, так и в употреблении поэтов, имеет смысл футурума. «Я сейчас приду», — говорит каждый человек вместо «я сейчас приду». — «Кто знает, кто завтра нами повелевает», — говорит поэт вместо «кто завтра нами повелевать будет». В этом «вместо» скрыто то же словотворчество, та же грамматическая гордыня, как в предложении, что язык выражает будущее

через настоящее. В нём скрывается вечная дерзость абстракции, которая хочет господствовать над действительностью, наглость правила, которое хочет быть больше, чем отдельные случаи, к которым оно упорядочивающе относится. Правило есть не что иное, как краткое выражение для языкового обычая; после того как оно облечено в формулу, оно хочет изменить языковой обычай, который оно должно было лишь высказать. Это как во всех областях действия. Выразили словом то, что есть, — и слово тотчас хочет быть долженствованием. Это всегда произвол, также при фиксации временны́х форм. Через употребление «правильных» временны́х форм в письменный язык входит трезвость, без того чтобы отчётливость разговорного языка повышалась. Пример произвола грамматиков — то, что одна и та же форма, которая в арабской грамматике называется презенсом, в древнееврейском называется футурумом.

Три времени — прошедшее, настоящее и будущее — назвали абсолютными временны́ми отношениями и так отличили их от относительных временны́х отношений, как, например, плюсквамперфекта. Разумеется, эти обозначения нельзя понимать строго. Настоящее и будущее всегда относятся к настоящему, всегда относительны, а плюсквамперфект, futurum exactum и т. д. относительны лишь во второй степени; какое-либо прошедшее или будущее принимается в известном смысле за координатную ось, к которой в свою очередь относится другое время как прошедшее или будущее. Были и есть языки (как древневерхненемецкий и, несмотря на большое богатство в другом отношении, славянский), которые не имеют грамматической формы для относительности во второй степени, без того чтобы говорящий и слушатель оставались в неясности относительно временны́х отношений.

Через временны́е формы глагола выражались и выражаются часто другие отношения предложения, которые в изложении грамматики не имеют никакого сходства с временны́ми различиями. Это так называемые наклонения; выражение, история которого одинаково поучительна для логики и грамматики, нам больше ничего не говорит. Позже мы в связи (с другими языковыми средствами намёка на время и пространство) должны будем показать, насколько применение темпуса к модусу метафорично или нет.

Индикатив находится в том же состоянии индифферентности, как именительный падеж среди падежей, презенс среди времён. Как презенс при известных обстоятельствах может выражать любое другое время, так индикатив при известных обстоятельствах — любое другое наклонение. Как уверенное ожидание будущего высказывается через презенс, и часто особенно настоятельно, так, например, императив — через индикатив, столь же настоятельно, даже угрожающе. «Ты придёшь!»

Форма конъюнктива во многих языках близка форме будущего. Также может, как в латыни и в древнееврейском, императив выражаться через футурум. И вовсе не нужно много фантазии, чтобы понять языковой дух, который не то что ставил будущее «вместо» конъюнктива, «вместо» императива, а скорее ясно видел конъюнктив или императив как будущее. Конъюнктив, который в наших языках «зависит» от понятий желания, просьбы, приказа и т. д., всегда относится к будущему состоянию и всё же имеет формы прошедшего. Кто знает, не являются ли конъюнктивы, которые не относятся к будущему, вводящими в заблуждение аналогическими образованиями. Правильный конъюнктив нашего письменного языка, как его требуют школьные учителя и как его неумолимо проводят образованные северные немцы, для южногерманского уха часто имеет нечто неестественное.

Не столь очевидно и всё же характерно, что относительные времена во второй степени, поскольку они не относятся к непосредственному настоящему говорящего, следовательно, не обозначают осязаемой действительности, легче могут стать выражением возможности. К наклонениям следовало бы причислить и понятие неопределённости, которое — в отношении времени — может быть неопределённостью длительности или неопределённостью повторения. Здесь в языках, которые имеют особую форму итератива, смешиваются модус и время. В немецком, где мы итератив тяжеловесно должны выражать через «я имею обыкновение»

или «я имел обыкновение делать то и то», временно́е обстоятельство переносится во вспомогательное слово и тем самым временно́й момент собственно деятельности затушёвывается; и модальность, которая выражается во вспомогательном слове, опять-таки теряется от того, что слово приняло значение временно́го повторения. Мы при говорении больше не думаем о том, что «pflegen» первоначально и ещё в прошлом веке означало живое участие в лице или в деле и что оно лишь в новейшее время выражает понятие привычки. Взаимопроникновение, можно сказать: смешение времени и интереса, как его объединяет форма итератива, следовательно, ясно видно в немецком описании итератива. Некоторые языки, как языки некоторых стоящих очень низко в культурном отношении негритянских племён, имеют особые глагольные формы для начала действия, для интенсивности действия и для попустительства действию, которых у нас нет; они давно могли бы научить, что не в сущности этой части речи, а в удобном языковом обычае лежит то, что глагол в наших языках стал временны́м словом, то есть своими формами напоминает о субъективном или объективном, о سبنительном времени в первой или второй степени.

И то, что связь временны́х отношений с понятиями деятельности стала для нас языковым обычаем или удобством, это опять-таки лишь языково-историческая случайность. Не было необходимости составлять предложение из субъекта и предиката или, например, из существительного, связки и прилагательного; поэтому не было необходимости и привязывать понятие времени к предикату (глаголу или связке). По Штейнталю, в якутском преобладает субстантивный, исходящий от субъекта строй предложения, в гренландском субъект и предикат отступают за объект. С фактом, что солнце светит, следовательно, и временно́е отношение свечения в якутском должно привязываться к светящему солнцу, в гренландском — к освещаемой земле. И если бы таких языков не было, всё же не было бы основания не представлять себе такие языки.

Не было необходимости, чтобы временны́е отношения обозначались именно на предикате; не было необходимости, чтобы именно глагол, то есть часть речи для деятельностей, развился во временно́е слово. Но глагол уже принял на себя службу выражать также субъективные отношения — а именно сделал ли что-либо говорящий, или к кому обращаются, или третий. Глагол обладал в известном смысле уже цапфой, вокруг которой вращалась стрелка и указывала на личные отношения; тогда легко можно было присоединить вторую стрелку, которая указывала то вперёд, то назад и так обозначала будущее и прошедшее. Все времена, как мы видели, относительны по отношению к настоящему, которого нет, которое мы представляем себе лишь как застывшую точку. Цапфа, вокруг которой вращается стрелка, была бы некрасивым, но правильным образом для этого настоящего: она даёт для стрелки покоящуюся точку, хотя часы могут носиться по пространству или продолжаться во времени.

Я не верю, что связка вообще присутствует в мышлении. И всё различие между говорением и мышлением можно опять-таки показать на связке.

Те дикари и те дети, которые говорят «вороны чёрные», думают ведь абсолютно не что иное, как мы, когда грамматически правильно говорим «вороны суть чёрные» или даже corvi sunt nigri (где окончание прилагательного, пожалуй, принадлежит к связке). Грамматические формы суть именно украшения, одежды, которые прилегают к мысли и в зависимости от моды то выставляют напоказ формы членов, то прячут, как женская грудь или зад в зависимости от моды то подчёркиваются, то зачёркиваются. Но под одеждами мы все голы, и под языком мы собственно мыслим голыми словами без флексионных слогов и других эстетических уравнительных слогов.

Однако неопределённость связки и её понятия бытия может быть прослежена уже здесь, до критики логики; причём пока следует упустить из виду, что это понятие бытия этимологически часто (в германских, как и в семитских языках) ведёт к более конкретным понятиям (ср. de la Grasserie: «du verbe être»).

Можно разделить суждения на две большие группы, смотря по тому, высказывается ли о виде, что он принадлежит к роду, или об индивиде рода, какого он вида. Все суждения в конце концов сводятся к двум формам:

1. Дуб есть дерево.

2. Это дерево есть дуб.

Первое суждение, понятно, никогда не говорит ничего нового, как и из этого суждения никогда нельзя вывести ничего нового. Оно прежде всего есть языковое приращение, когда его учитель, например, прививает ученику: «Дуб подпадает под понятие (слово) дерево». Или ещё яснее: «Дуб (среди других пород деревьев) называется деревом». И учитель (тот первый учитель, который образовал понятие дерева) ничего не открыл, а лишь изобрёл; он из-за колеблющихся сходств сделал себе удобство и начал запоминать под словом «дерево» столько-то и столько-то видов растений. В этой первой группе суждений можно было, следовательно, вместо связки «есть» сказать также «называется».

Ещё яснее дело обстоит, когда об индивиде рода высказывается, к какому виду он принадлежит, то есть какое подвидовое имя он носит. Это живое существо называется растением, это растение называется деревом, это дерево называется дубом, этот дуб называется болотным дубом, этот болотный дуб называется американским болотным дубом, этот американский болотный дуб двадцатилетний, этот двадцатилетний американский болотный дуб мой.

В двух последних суждениях я оставил для «называется» ещё «есть», потому что может звучать непривычно трактовать цифры и обозначения собственности как словесные вопросы. И всё же не непосредственно присущее свойство этого болотного дуба, что с момента его возникновения земля сделала двадцать оборотов вокруг солнца; это совершенно внешний, выдающимся образом языковой признак. И ещё менее свойство этого дерева — быть «моим»; понятие собственности всецело принадлежит к моему понятийному миру, к моему словарному запасу. Мы говорим, следовательно, далее: этот американский болотный дуб называется двадцатилетним, этот двадцатилетний американский болотный дуб называется моим.

Так и так называемые свойства в конце концов должны уже не казаться парадоксом, если их признать словесными вопросами. Красный цвет листа, разумеется, моё ощущение; но как только я хочу заметить это ощущение, как только я хочу иметь его наготове как предикат, я должен поверхностно объединить ряд подобных ощущений, должен для «à-peu-près» их сходства изобрести слово — именно слово «красный», которое должно вступить из мира настоящего в мир моего словарного запаса. Совершенно так же со словом «лист». И так в конце концов это тоже словесный ряд, а не предметное суждение, когда я говорю: «Мой дуб теперь краснолистный». Он называется краснолистным.

Истинная связка всех суждений или предложений есть, следовательно, не слово «быть», а вспомогательный глагол «называться».

Можно после этого составлять слова как угодно искусно — то, что выйдет, никогда не будет ничем иным, как — языком.

Как ложно употребление переходных или активных глаголов для того, что мы столь же ложно называем деятельностью наших органов чувств, явствует также из того, что у нас есть лишь по одному слову для «видеть», «слышать», «нюхать» и т. д. и что различия через сотню различных слов для различных воздействий мы переносим обратно в вещи. При действительно переходных глаголах, как «есть», «пить», действие лежит в нашей воле или по крайней мере кажется лежащим в ней. При восприятиях же, то есть при воздействиях внешнего мира на нас, постепенно потерялась и видимость свободы. И так между переходным языком наших обозначений чувств и нашим знанием в конце концов лежит та же дивергенция, как между научным убеждением в несвободе воли и нашей неспособностью действовать без видимости свободы. Как каждое движение пальца человека происходит под старой верой в свободу, так и наш язык сохраняет видимость свободы, акции при всякой речи о чувственных впечатлениях.

Что так затрудняет представление об этих вещах — это обстоятельство, что видение, вкушение и т. д. (противоречаще языку выраженное: «озеленение», «обзвучивание», «ослащивание», «огоречивание») происходит не в признанно пассивных органах чувств, а где-то позади них в центральной нервной системе. Как ни странно, в той же тёмной камере происходит и то, что несвободно, с видимостью свободы, заставляет работать двигательные нервы. И наш язык столь же неспособен выразить пассивность наших чувств, как пассивность наших волевых актов. Даже к теоретическому убеждению в этих двух пассивностях он может приблизиться лишь ощупью в темноте.

Зигварт, который (II. 166) хорошо заметил противоположность между активными глаголами наших обозначений восприятия и научным истолкованием, всё же настолько раб языка, что на основании этой языковой видимости говорит даже о свободе воли наших чувств или их центра, одновременно, однако, об императивах зрения и слуха — вероятно, категорических императивах. Одновременно он указывает на внимание как на условие отчётливого видения и т. д., как будто внимание зависит от свободной воли.

Так теория восприятия через язык соприкасается с этикой; у языка есть подземные источники ошибок и ошибочные течения, которые ведут туда и сюда. Часто в шутку говорили о католической математике и т. д. Но понятие не только возможно, а есть факт. И теория познания в Средние века была католической. Три догмата стояли впереди как исходные точки, чтобы потом логически выйти снова как результаты: бессмертие души, Бог и свобода воли. От первого результата начинают отказываться, потому что язык в этом понятии доведён до абсурда. Второй догмат все нематериалистические исследователи пытаются сохранить, стыдливо медленно лишая его всего содержания веры. Третий же и собственно единственный моральный принцип — свобода воли — всё ещё бродит довольно неизменным, как ночной контрабандист, по пограничным областям физиологии и против своей воли делает новейшую и гордейшую из естественнонаучных дисциплин морально-физической физиологией.

Неопределённость переходного глагола «хотеть» могла много способствовать запутыванию учения о свободе воли. То, что относится лишь к объекту — переходная деятельность неизвестной души, желание, — должно было бы языково точно отличаться от хотения. Последней цели — яблока или женщины — я желаю, то есть хочу сделать своим. Мой мозг изобретает для достижения этой цели хитрую машинерию, к которой должны соединиться кости, мышцы, сухожилия, быть может, и проецированные органы, как лестницы, ножницы и тому подобное. Пусковым образом стоит в начале этой машинерии где-то в нервной области хотение, которое вовсе не переходно, а состояние, как видение и слышание. Можно было бы также сказать, что переходные глаголы этого рода получают видимость акции от того, что им служит центральная нервная система, кухня сознания или самосознания. Воздействия симпатических нервов этой видимости, этого сознания акции не производят. Поэтому «потеть», «дышать», «мёрзнуть» стали непереходными глаголами; «видеть», «слышать» и т. д. — переходными. Человек здесь был как князь, которому большая сеть его тесно связанных слуг дала неразрушимое самосознание собственной акции, тогда как скрытые друзья, которые защищают его жизнь, могли бы сказать ему, как и он ничего о себе не знает, как и он пассивно, без свободы, связанный, как рабское растение, живёт.

Образованные люди, школьные учителя и другие педанты называют языковой ошибкой, когда ребёнок говорит свой живой язык иначе, чем предписывает мёртвая грамматика. Берлинский мальчик, по ним, «путает» «mir» и «mich». С таким же успехом можно было бы сказать о сорте роз, что он путает жёлтый и красный.

Но языковой ошибкой — и уничтожающей языковой ошибкой — является то, что наш родной язык, наш народный язык в познании лучших умов всегда отстаёт на десятилетия, в некоторых вещах на столетия. И есть много объясняющая смехотворность в том, что всегда есть писатели, которые считаются в наше время современными, но с более глубокими поняти-

ями своего языка остановились у Цицерона, у Лютера, у Канта или у Гегеля. Понадобилось около тысячи лет, прежде чем прозрения Аристотеля перестали быть техническими выражениями и были приняты в новые народные языки. Быть может, снова понадобится столько же времени, прежде чем прозрения Ньютона — за которые мы ведь в общем и целом ещё не вышли — станут живым знанием родного языка.

Я, разумеется, не в состоянии выпрыгнуть из языка. Но я могу издалека указать на некоторые примеры, в которых наш языковой строй так же мало служит нашему познанию, как сеть газовых труб города с электрическим освещением.

Очевиден пример с солнцем, которое наш язык всё ещё заставляет вращаться вокруг земли. Всё ещё говорят «солнце восходит» вместо «солнце достигнуто». Тотчас видно, что выражение, которое до Коперника соответствовало полагаемым фактам, с тех пор стало образным. И мне могли бы возразить, что такие языковые образы повседневны. Когда мы на лодке едем вниз по Рейну, берега, кажется, движутся нам навстречу, и мы можем с таким же успехом сказать: «Рюдесхайм достигнут», как «Рюдесхайм появляется». Но есть бесчисленные случаи, в которых употребление непереходного глагола вместо переходного не есть образ, а есть неспособность языка удержаться на высоте нашего предчувствующего познания.

Мы, например, со времён Локка и Канта, ещё общее со времён Гельмгольца, предполагаем, что свойства тел (например, цвета, запахи и т. д.) не присущи им вещно, а суть явления движения, которые лишь в наших органах через знаменитые специфические энергии чувств, то есть субъективно, становятся тонами, цветами, запахами и т. д. Мы должны были бы, следовательно, со времён Локка или по крайней мере со времён Гельмгольца больше не говорить «дерево зелёное», а «дерево зеленеет меня». Я не предлагаю изменения. Но пусть спокойно острит по этому поводу и смеётся. Процесс, при котором крона дерева зелёно аффицирует мою сетчатку, тот же, как когда огонь греет мою кожу. Что я хотел сказать — это то, что свойства тел, которые по старому языку через связку соединяются с субъектом или (что-то же) высказываются о них в непереходных глаголах (дерево зеленеет, цветок благоухает), — что эти свойства, говорю я, по новейшему пониманию должны быть переходными глаголами. Дерево зеленеет меня, роза благоухает меня, как меня греет огонь и как меня смешит осёл, который над этим смеётся.

Быть может, ещё страннее покажется, если я и в наших привычных переходных глаголах обнаружу древнюю, для мышления роковую языковую ошибку. Мы ведь не думаем, что можем говорить и думать иначе, как: вода движет мельничное колесо, магнит притягивает железо, дождь оплодотворяет растения. Здесь я не могу даже искусственно принудить язык к другому выражению. И всё же во всех этих переходных глаголах лежит понятие причинения, каузальности и попало в эти глаголы в праэпоху, когда каузальность была ещё совсем мифологическим понятием. Тогда говорили: «Аполлон пускает чумные стрелы, Посейдон волнует море, Парка убила этого человека, вода движет мельничное колесо». Сегодня за переходными глаголами ищут уже не божество, а более нагого фетиша — понятие силы. И пока ни один учёный не знает, что такое сила, до тех пор мифология сидит в переходном. И поскольку мы это знаем, постольку мы не имеем больше права его употреблять.

Так стоит перед нами как заря будущей революции языка возможность, что однажды все прилагательные растворятся в переходные глаголы, все переходные глаголы — в какие-либо обозначения состояний. Прежде многочисленные высказывания должны будут стать образными выражениями, и сотни абстрактных слов из истлевшего словарного запаса Средневековья исчезнут и сгинут — если только «исчезнуть» не окажется опять словом, которое по нашему теперешнему знанию бессмысленно.

Эта будущая революция человеческого языка наконец сокрушит мнимо неразрушимое строение Аристотеля. Наша аккуратно препарированная грамматика, которой вначале все более даровитые и богатые дети, а в конце концов в наш благословенный век одинаково все

дети были отуплены, распадётся, как скелет, ткани которого сгнили; наша логика, с высот которой на нас взирают две тысячи лет, окажется описательной анатомией этого распадающегося скелета, и лишь тогда сочтут, что покончили со старым Аристотелем. Тогда, правда, в его сочинениях снова обнаружат противоположность возможности и действительности и станут в тупик, и научатся сомневаться в материализме, который опять-таки один только и мог вести к той революции говорения и мышления. Ибо язык есть архиматериалист.

И я полагаю, что чувствую ужас человека, который вместе с произведениями Аристотеля бросает в пламя старый язык и при его последней вспышке видит дуализм возможности и действительности чёрным по белому, чёрным по белому — тьму на ослеплении. К действительному язык не может подойти, потому что можно только воспринимать, но не высказывать, что что-либо есть. К возможному язык не может подойти, потому что возможное ещё не действительно, для нас, следовательно, ещё вовсе не действительно, потому что возможное действительно только для себя. И так честный пророк великой языковой революции не знает, что придёт после сокрушения, за что он и заслуживает по заслугам быть осмеянным всеми смеющимися ослами.

Мы представляем себе только, что оплодотворённый зародыш собаки и рядом только что оплодотворённый зародыш человека. Никаким из наших органов чувств мы не можем различить эти две вещи, никакой микроскоп их не различает, они для всякого наблюдения идентичны. В их действительности для нас они суть одно и то же, они равны, они суть Одно, и наш язык не имеет звука, чтобы обозначить здесь двоякое действительное. И всё же один станет собакой, другой — человеком; достоверностью становится для нас возможность, только различить зародыши мы не можем.

Так стоим мы безъязыкими перед тем, что станет, и называем это самым таинственным словом нашего языка: жизнь.

III. Существительное

То, что отличает — или, по крайней мере, должно отличать — повседневное употребление языка, язык кормилиц и официантов, от научного использования языка, — это в конце концов значение вещи. Ребёнок, крестьянин и официант называют вещь здесь яблоком и не знают иного, как то, что здесь действительно есть яблоко, сладкое, висит на дереве или лежит на тарелке. Ребёнок, крестьянин и официант просто не понимают, когда им говорят: написанное слово «яблоко» есть видимый знак для произнесённого слова «яблоко», которое в свою очередь есть лишь слышимый знак воспоминания для понятия, в котором неясно объединяются сотни более или менее подобных яблок и миллиарды бывших, настоящих и будущих, больших и малых, сладких и кислых яблок. Но и этот наличный здесь индивид-яблоко, который взвешивает твоя рука и ощущает, как гладкий и круглый, который обоняет твой нос, пробует твой нёбо и чью красную щёку видит твой глаз, — и он как вещь, как нечто вне тебя, совершенно тебе неизвестен; он есть не что иное, как древнейшая и всеобщая гипотеза человечества — гипотеза единой причины одновременных восприятий. Мы называем предполагаемую причину одновременных восприятий вещью; и мы называем регулярно предшествующее восприятие причиной следствий. Мы не знаем об этом яблоке здесь ничего, кроме одновременных ощущений в руке, в глазу, на нёбе и на слизистой обоняния. Ловкий механик или фокусник, который через различные причины одновременно сообщил бы нам все эти ощущения, мог бы действительно искусственно произвести яблоко. Чтобы сказать крайнее о категориальной путанице: как глагол, как невообразимый без цели, всегда имеет нечто от футурума, так существительное, как причина ощущений, всегда имеет нечто от перфекта.

Если возможно, ещё непостижимее становится понятие вещи для философствующего физика. Эрнст Max (Wärmelehre 355 и Analyse d. Empf. 252) великолепно показал: «То, что мы называем материей, есть известная закономерная связь ощущений».

Кто всё это знает, тот всё же снова и снова впадает в воззрение ребёнка, крестьянина и официанта, потому что и его язык есть лишь тот же язык кормилиц и потому что после двухсотлетнего существования нашей психологии язык ещё не имеет иных слов, кроме тех, которые, как и прежде, хотят объективно обозначать сами вещи. Для ребёнка, по-видимому, каждое слово есть собственное имя; отец — это его отец, собака — это его собака, суп — сначала стоящая перед ним в данный миг тарелка супа; для нас, собственно, всё, даже собственное имя, есть отвлечённое понятие. Гомер, разумеется, лишь абстрактный, быть может, только мыслимый поэт «Илиады». Но даже современник Бисмарк для анализа есть лишь, несмотря на все книги, совершенно неизвестная причина ряда восприятий, которыми мы частью прямо, частью косвенно обязаны нашим органам чувств.

Для нашего повседневного языкового употребления собственное имя личности есть, разумеется, самое конкретное из конкретного. Но если мы серьёзно отнесёмся к нашему познанию, то царство абстрактного простирается всё дальше и дальше, пока мы не поймём, что мы не знаем ничего, кроме абстракций, только слова и никаких вещей.

Тень — конкретная вещь? Она есть отсутствие света, так же как чёрный цвет. И тень от этого не становится менее отвлечённой — она остаётся чем-то негативным, оттого что мы обладаем положительным словом для её ощущения.

Пламя — конкретная вещь? То, что мы в лампе видим столь постоянно светящимся, конечно, выглядит так, будто это нечто такое. Но это всё же лишь соединение двух газов, которое мы воспринимаем, и притом не конкретное соединение, не сами соединённые газы, а акт их соединения — отвлечённое понятие.

Равным образом и ветер не есть конкретная вещь, а движение. И желание всего современного естествознания сводить всякое действие, то есть всякое восприятие, к периодическим

движениям в конце концов встречается с медленно созревавшим в течение двухсот лет убеждением, что всё наше познание субъективно, что весь наш язык есть воздушное гнездо абстракций.

При этом не случайность, а в высшей степени отрадное основание не сомневаться в действительности нашего существования — то, что учение о вещах или о действительности, естествознание, остановилось именно на движении как высшей форме, тогда как слова языка, когда они хотят нырнуть с высоты абстракции к вещам, в конце концов в глубочайшем основании также наталкиваются на движение. А именно так.

Мы поняли, что яблоко — это неопределённый абстрактный образ. Мы можем постепенно приближаться к такой конкретной вещи, добавляя к известным свойствам понятия яблока (или к знакомым воспоминаниям о сходных ощущениях, вызванных бесчисленными яблоками) всё новые уточняющие признаки — например, «спелое большое **борсдорфское** яблоко этого года (от нем. *Borsdorfer Apfel*). Это не выдуманное слово, а реальное название старинного немецкого сорта яблони). Это как облава на понятие, которое всё теснее окружается. Но к представлению индивида-яблока, то есть к единственно доступному нам субъективному восприятию вещи, мы приходим в конце концов лишь тогда, когда в определённом тремя измерениями месте в определённое время, его четвёртом измерении, воспринимаем уже не яблоко, а вот это яблоко. Лишь определённое пространством и временем понятие кажется нам вещью. Но пространство и время, когда они живы, суть движение. Так движение есть мост между словами и вещами; и как в человеческом теле есть круговорот крови, как тончайшие и нежнейшие разветвления артерий переходят в тончайшие разветвления вен и жизнь лежит между ними, так действительность и язык соприкасаются в недоступном явлении движения. Слова никогда не касаются вещей, но они парят вокруг них, если это хорошие слова, как, согласно теории движения, некий легендарный эфир омывает молекулы. Даже лучшие слова ещё суть сказание.

Всё наше мировоззрение было бы единообразнее, если бы наш язык пожелал привыкнуть выражать гипотезу причины, действие вещей друг на друга, также и относительно нашего мышления. Искони человек рассматривает вещи между собой как причины действий и, так и выражает это. Солнце греет камень, овца ест траву. Но с той же гордыней, с какой человек в течение бесчисленных тысячелетий считал землю точкой вращения солнца, он отказывается признать — на уровне языка —, что его чувства суть игрушка вещей. Хотя до недавнего времени он вовсе не знал, что случайные чувства (вернее, их мозговые центры) тоже активны, что случайные чувства человека — живая игрушка. Когда я играю с кошкой, быть может, кошка играет со мной (Монтень II. 12). Человек не хочет понять, что мир, потому что он сильнее, устанавливает правила игры. И всё же тем самым он только впервые стал бы средоточием мира — правда, каждый отдельный лишь средоточием своего собственного маленького мира.

Но психологически невозможно различить — ни для праэпохи (**ранней эпохи**) становления языка, ни для периода, когда наши дети только начинают осваивать речь, — что преобладает в первых словах или дейктических звуках: собственные имена или родовые. Смятение в душе ребёнка и первобытного человека, быть может, даже больше, чем наши языковые средства легко позволяют выразить; быть может, соединяются крайности, которые далеко выходят за противоположность собственных и родовых имён. Быть может, в душе первобытного человека и ребёнка есть состояние, в котором индивид «папа» ещё не познаётся как всегда тот же индивид, то есть как носитель собственного имени «папа», где папа ещё гораздо более индивидуально выражает «вот того», кто в данный миг со своей чёрной бородой в поле зрения и кто лишь похож на другого, бывшего здесь час тому назад; на этой ступени в душе ребёнка смешивается употребление «папа» как родового имени для мужчины и как моментального имени, которое ещё индивидуальнее, чем личность отца. Равным образом ребёнок, который видит луну на небе сначала слева, а затем справа от здания, может считать оба явления двумя моментальными лунами, то есть индивидуализировать их сверх собственного имени и всё же

неясно связывать с ними родовое понятие (например, «лампа»). И с другой стороны, он может обнаружить признак, по которому узнаёт папу, в черноте бороды, называть папой каждого темнобородого человека и тогда, по-видимому, постиг родовое имя «мужчина», в действительности же лишь прилагательное представление.

Я не верю, что это колеблющееся положение собственных имён совершенно исчезло из языка взрослых. Если бы каждый человек из собственной силы научился говорить, то есть из собственного опыта абстрагировал понятия, то каждое родовое имя было бы для него представителем более или менее собственных имён, так как для него каждый отдельный опыт имел бы значение индивидуального имени. Я мимоходом ступил в Африку в Алжире и там нашёл мало негров, вовсе никаких верблюдов и львов, но зато мюнхенское пиво; это понятие, то есть «Алжир», слилось бы для меня с понятием Африка, если бы я не узнал от менее удобных путешественников, что для них понятие «Африка» включает верблюдов, и львов, и очень многих негров. Если бы люди могли достаточно точно наблюдать себя, они поняли бы, что в основе несметных их понятий лежат индивидуальные опыты, что эти понятия, следовательно, суть собственные имена. Поскольку же язык возник между людьми, а люди не обладают одинаковыми индивидуальными опытами, постольку все эти индивидуальные понятия в общении стираются до родовых имён. Ещё сегодня для многих деревень «гора», «река», «церковь», «пастор», «граф», «еврей», «лес», «замок» и т. д. суть собственные имена; но, когда сходятся жители разных деревень, эти слова снова становятся родовыми именами.

Но и в строго научном применении, и именно там-то и подавно, собственные имена имеют характер, который легко может колебаться временно и пространственно в сторону коллективных имён. Уже обращали внимание на то, что образцовые собственные имена, как «Берлин», суть собственные имена лишь тогда, когда под ними понимают город в определённую эпоху, педантично говоря: в определённый миг. Берлин тысячу лет назад и сегодняшний Берлин имеют друг с другом общим лишь место, приблизительно местность на земной поверхности; в остальном наверняка нет ни одного камня, ни одной балки, которые остались бы от старого Берлина. И в то время как человек, который носит собственное имя Фридрих Вильгельм Шульце, при двадцатилетнем изменении всех атомов всё же благодаря тайне своего организма по крайней мере до некоторой степени сохранил свою форму, Берлин также представляет совершенно иную картину, чем Берлин тысячу лет назад. Если, следовательно, говорят об «истории Берлина», то Берлин уже не собственное имя; отказывать индивиду Фридриху Вильгельму Шульце в праве на собственное имя было бы рискованно, потому что Шульце имеет память, непрерывность своего сознания и тем самым, с правом или без права, представление о своей индивидуальности.

Если таким образом исторические собственные имена — я имею в виду собственные имена, которые обозначают развивающихся людей или человеческие создания, или человеческие группы, — легко переходят во временные коллективные имена, то собственные имена конкретных вещей строго говоря почти всегда суть пространственные коллективные имена, которые опять-таки очень близки к родовому имени. Языково различие делается редко, например, «библиотека» может быть родовым именем, но без всякого языкового изменения и собственным именем, когда я посылаю за «библиотекой» и имею в виду королевскую библиотеку, или велю принести книгу из «библиотеки» и (что при скромности моей библиотеки мне, впрочем, не свойственно) думаю о моей собственной библиотеке. Каждая индивидуальная библиотека охватывает множество книг, а «книга» опять-таки может быть родовым именем, собирательным именем или собственным именем. Примерами для этого я мог бы заполнить книгу или исписать лист книги или увеличить эту книгу на один лист: родовое имя, собирательное имя и собственное имя.

Колебание между различными видами существительных возможно и там, где слово на первый взгляд кажется хорошим собственным именем. Так, «Земля» наверняка есть нечто

подпадающее под определение собственных имён. Я, разумеется, отвлекаюсь от многозначности слова, в силу которой оно может обозначать то вещественное имя (пахотная земля), то родовое имя (земли = виды земли), то неопределённую часть земной поверхности, на которой мы как раз стоим; я равным образом отвлекаюсь от того, что земля имеет историю развития и в этом смысле так же мало, как Берлин или Фридрих Вильгельм Шульце, выражает в разные времена один и тот же индивид. Если мы возьмём землю единственно и исключительно как словесный знак для нашей планеты, то она всё же есть нечто вроде собирательного имени для представления геолога, родовое имя, когда, например, Клопшток говорит о планетах как о землях, и собственное имя лишь для астрономического воззрения, которое называет так только это одно небесное тело, или даже для космического воззрения Фехнера, которое приписывает этому небесному телу ещё и индивидуальную душу. Кто захотел бы придираться к этому космическому воззрению, тот мог бы далее спросить, принадлежат ли и метеориты в полёте к этому индивиду-земле, как ведь наверняка принадлежит атмосфера, которая опять-таки в обыденном представлении не принадлежит к земле.

Имена рек суть собственные имена. Это мы учим в школе. Но это также не совсем верно.

Собственные имена они не совсем так, как Пётр или Павел. Между нами Пётр и Павел тоже уже не собственные имена. Собственное имя — это прежде всего «Пётр Мюллер», то есть столько же, сколько чёрный или горбатый Мюллер. В этом смысле тогда «Дунай» есть понятие, как «Пётр Мюллер». И то, что «Дунай» обозначает лишь русло, в котором течёт непрестанно меняющаяся вода, не мешает сходству; ибо в конце концов и «Пётр Мюллер» обозначает лишь русло, сумму (самих по себе опять-таки медленно меняющихся, как речное русло) сосудов и органов, через которые течёт ежедневно новой пищей заново созданная, заново возникшая кровь.

Однако с именами рек дело обстоит ещё особенно. Несомненно, были времена, в которые особенно большие реки и океаны назывались разными прибрежными народами различно, и притом так, что они не знали, что это одна и та же река. Да, если Колумб «логически» мыслил, то он, поскольку до конца своей жизни ничего не «знал» об Америке (позднейшей стране Эмерика), должен был верить, что Бомбей лежит на Атлантическом океане, и должен был принимать эту веру за новую истину.

Когда затем западное человечество приняло для больших рек единые имена, «Дунай» показался наконец собственным именем, единичным понятием. Но как обстоит дело с крещением этой воды? На основании обряда? Случайно главная река была названа Миссури, приток — Миссисипи; случайно главная река называлась Инн, приток — Дунай. Но поскольку участок ниже слияния здесь назывался Миссисипи, там Дунай, постольку всё течение получило имя притока. Как Магомет, после того как Хадиджа родила ему сына Касима, был назван Абулькасимом, отцом Касима. Отец называется по сыну. Река у Гамбурга, которая должна была бы называться Молдавой по главной реке Богемии, называется Эльбой.

Это нам совершенно безразлично, потому что реки для нас суть рыночные товары, потому что вода, под каким бы именем ни была, прочно уложена и описана, и потому что реки не живые. Но что если бы кто-нибудь захотел сделать вывод, что масса воды Дуная у Пассау должна быть больше, чем масса Инна, потому что река дальше называется Дунаем? Тогда он совершил бы ту же ошибку, которую говорящее человечество совершает искони, считая логику чем-то первичным, хотя логика выведена лишь из имён.

У нас есть несметные понятия, которые путают главную и побочную реку или которые (например, Везер из Верры и Фульды) внезапно теряют старую языковую связь; и в конце концов для действительности действительно столь же безразлично, подходят ли её понятия, как для воды ниже Пассау — называется ли она Дунаем или Инном. Серо-зелёная она всё равно.

Родственно этому колебанию даже собственных имён употребление словечка «der», которое в течение немногих столетий (сходным образом дело обстоит в других новых языках) про-

шло путь от звукового знака для моментальных индивидов до звукового знака всеобщего и бессмысленности. Первоначально оно было, вероятно, ещё больше чем указательным местоимением — оно было восклицанием, которое направляло внимание на как раз стоящую перед глазами вещь здесь и тем самым обозначало её для слушающего. Позже, как настоящее указательное местоимение, оно ещё индивидуализировало родовое имя: «der Mensch» — то есть этот человек и никакой другой. В постепенном ослаблении оно как артикль обозначает как раз наоборот не индивида, а безразличный пример его рода: «der Löwe hat eine Mähne» означает столько же, сколько: каждое животное этого вида, безразлично какое.

Не совсем непохож путь, который прошёл неопределённый артикль в немецком. «Ein» первоначально есть так называемое числительное, то есть обозначение для индивидуального понятия, для единства, от которого затем исходит деятельность счёта, когда ощущение равенства двух индивидов привело к чувственному выражению «два». В немецком это первоначальное значение настолько подавлено накопленным употреблением неопределённого артикля, и трудность выделить ударение первоначального «ein» посредством давления привела к тому, что мы для «ein» часто находим напыщенное выражение «ein und derselbe». Первое ослабление привело к употреблению «ein» в смысле неопределённого местоимения, примерно нашего «man», причём в странной смеси представлений потерялось понятие определённого единства, но понятие личности сохраняется, как в «unser einer». Наконец «ein» стало так называемым неопределённым артиклем, что есть очень неудачное выражение. Ибо так называемым определённым артиклем «der Löwe» обозначает каждого льва, то есть неопределённого индивида вида; если же басня начинается с «ein Löwe», то имеется в виду определённый индивид, и если в ходе басни «er» относится к герою басни, к «одному льву», то это «er» заменяет определённого индивида, собственное имя. В нашей животной басне Рейнеке стоит не за «der Fuchs», а за «ein Fuchs».

Чтобы показать, как противоречиво язык относится к кажущимся столь прозрачными отношениям, как отношения собственных имён, я хочу проиллюстрировать этот до сих пор упускавшийся характер неопределённого артикля через соединение с собственным именем. Если в краткой хронике семьи Бисмарк где-нибудь говорится: «Ein Bismarck основал новую Германскую империю», то собственное имя Бисмарк сначала становится родовым именем, охватывающим сотню индивидов, и лишь затем как раз через так называемый неопределённый артикль выделяется определённый индивид и его имя снова делается собственным именем, точно так же, как через обычное обозначение «Отто фон Бисмарк». Но если я говорю: «Die Bismarck kommen nicht in der Mehrzahl vor», то я из собственного имени Отто фон Бисмарк сначала делаю действительное родовое имя, чтобы после этого высказать о нём, что множественного числа от него не существует, что он, следовательно, совершенным образом есть собственное имя; языку подставляют ножку, выделяя единственность мужа тем, что образуют его множественное число и отрицают возможность этого множественного числа.

IV. Прилагательное

Среди богатых представлениями частей речи прилагательное в истории рассудка — древнейшее, в истории грамматики — новейшее. Аристотель ещё не знал прилагательного, потому что считал, что для оформления своей таблицы категорий в нём нет нужды, или, вернее, потому что он ещё не дифференцировал в языковом употреблении различия между прилагательным и существительным; его «эпитет» есть вид существительного, а наши «прилагательное» и «эпитет» суть переводы слова «эпитет».

Однако для утверждения, что прилагательное в действительном языке предшествовало существительному и глаголу, историческими основаниями ничего не сделать, хотя речь идёт о вопросе времени. Менее всего этимологическими основаниями; ибо этимология, с одной стороны, склонна для новейшего времени выводить прилагательные из существительных и глаголов, в чём она наверняка права, с другой стороны, для древнейшего времени, например, родовые имена животных и растений выводить из бросающихся в глаза признаков или прилагательных, в чём она, быть может, снова права. Но мы уже знаем, что этимология так же мало может приблизить нас к возникновению языка, как подъём на воздушном шаре может существенно приблизить нас к солнцу. Лишь на психологических соображениях мы можем ориентироваться в древнейших эпохах языка. Итак, всё будет зависеть от того, что мы понимаем под признаком и что в ту эпоху привело к запоминанию вещи или к её называнию по признаку.

Мы понимаем под признаками весьма неравные понятия, смотря по тому, следуем ли мы либо нашему случайному родному языку, либо вдолблённой нам логически вышколенной грамматике, или же основательно прошли сами через высшую школу логики. Во всяком случае мы видим прилагательные рядом с существительными в следующих примерах: щетинистое животное, сладкое яблоко, белая лошадь, тяжёлый шар, высокий тон, прекрасное лицо, печальное происшествие, хороший человек. По обычным представлениям будут предполагать, что здесь высказанные прилагательные продвигаются от самых конкретных к самым абстрактным признакам. По этим представлениям прилагательные «хороший», «печальный» и «прекрасный» высказывают ценностные суждения, прилагательные «высокий» и «тяжёлый» всё же ещё субъективные суждения, прилагательные «белый» и «сладкий» передают ощущения, и даже прилагательное «щетинистый» направляет внимание на совсем конкретный признак, на телесно отделимую часть целого. Мне теперь прежде всего важно указать на узость и вводящий в заблуждение характер этих различий.

В крайних случаях, где прилагательное относится к телесно отделимой части существительного, конкретное представление, правда, трудно изгнать из нашей фантазии; но и там прилагательное хочет обозначать не тело, а впечатление, которое целое через выделенную телесную часть производит на нас. При «щетинистый» мы думаем не об отторгнутых щетинах или об их употреблении, а единственно и исключительно о свойстве, которое животное производит на наши глаза и, быть может, ещё на наше осязание. Это показывается, быть может, ещё яснее, если мы возьмём прилагательное от ещё более грубых частей тела, причём следует заметить, что такие конкретнейшие прилагательные, вероятно, все суть новейшие и новейшего времени создания. Скажем ли мы «Человек есть двурукое животное», слушатель в зависимости от своего естественнонаучного образования представит себе целую массу признаков, связанных с двурукостью, но обе отрубленные руки он не представит; в основе при «двурукое животное» о двух конкретных руках напоминается не иначе, чем в обозначении «двурукая фортепианная пьеса». Обе руки, щетины лишь мысленно абстрагируются от целого, чтобы получить различающий признак.

Совершенно сходным образом дело обстояло бы с «сладкий» и «белый», если бы мы однажды обратили внимание на то, что горькая пилюля покрыта сладким соком, что некраси-

вого цвета шея покрыта белой пудрой. Кто воспринимает пилюлю или шею через особо для того приспособленное чувство, тот сначала будет иметь ощущение «сладкий», «белый», чтобы после узнать, что эти прилагательные относились к отделимым частям целого, что он был обманут. В наиболее частых случаях употребления «сладкий», «белый» и подобных прилагательных, однако, налицо гораздо более тонкий обман, которому простой человек снова и снова подвержен, хотя психология уже столетия назад выяснила положение дела. Естественное мышление всегда хочет сказать, что сами вещи сладки или белы; нужен познавательно-теоретический размышление, чтобы познать и эти свойства уже как субъективные. Ничто на свете не было бы белым, если бы не было глаз, ничто на свете не было бы сладким, если бы у нас не было вкусовых органов. То, что в основе белого цвета в противоположность другим цветам лежит определённое объективное отношение, равно как и в основе сладкого вкуса, нас здесь не касается; во-первых, мы знаем бесконечно мало об объективной, пожалуй, субстантивной основе свойств, и, во-вторых, даже при полном знании причин все свойства всё же остались бы свойствами, то есть суждениями о действиях, которые эти причины производят в наших органах чувств. Свиная щетина суть гораздо более осязаемые причины, чем гипотетические эфирные волны, которые производят на нас впечатление «белый»; но если уже «щетинистый» напоминает лишь о впечатлении, а не непосредственно о самой свиной щетине, то тем более «белый», причину которого мы не можем постичь. Иначе соответствующие негативные понятия не были бы равноценны ни в языковом, ни в логическом отношении. Мы же говорим совершенно параллельно «щетинистый» и «голый», «белый» и «чёрный».

Было время, в которое свойство тяжести искали в самих вещах так же, как свойства сладости и белизны; со времени установления закона тяготения каждому образованному человеку стало «легко» представлять свойство тяжести как отделённое или абстрагированное от тяжёлых вещей. Мы знаем даже, что фунтовая гиря на нашей руке показалась бы нам совсем иной, если бы мы жили на луне. Поэтому нам легко понимать «тяжёлый» как субъективное впечатление, ещё легче обозначения для тонов, для которых у нас, вероятно, и потому в совсем популярном языке так мало слов, что люди искони не приписывали тоны самим вещам. Волновое движение камертона можно видеть, колебания колокола можно чувствовать; поэтому с древних времён решено, что звучание скорее принадлежит к деятельностям, чем к свойствам вещей. Причём я не могу исследовать, не назывался ли в какую-то праэпоху ручей или водопад громким, как снег белым. Общий язык не последовал за научным пониманием и всё ещё делает различие между деятельностью колокола, который колеблется несколько сотен раз в секунду и потому даёт тон g, и между свойством листа, поверхность которого по ныне господствующей гипотезе колеблется биллионы раз в секунду и потому даёт цвет зелёный. Мы же должны понять, что между группами «сладкий» и «белый», с одной стороны, «тяжёлый» и «высокий» (в музыке) — с другой, по учениям моментальной науки психического различия не существует.

Когда мы наконец выносим ценностные суждения, когда мы называем лицо прекрасным, происшествие печальным, человека хорошим, то яснее всего, что мы при этом думаем только о наших чувствах, а не об отделимых частях вещей, которые мы так обозначаем. Излишне в этом месте ближе входить в эти вопросы и так мимоходом критиковать принципы эстетики и этики. Это главным образом Гоббсом и Локком выполнено так основательно, что никому не нужно было ждать переоценки всех эстетических и этических ценностей от Ницше-поэта.

Результат этого обзора, разумеется, крайне банален: все прилагательные напоминают нам лишь о впечатлениях или чувственных восприятиях, которые вещи произвели на нас. То, что мы называем самими вещами, что мы называем конкретным, — это комбинации свойств, которые мы приписываем одному и тому же источнику. Яблоко есть то, что одновременно и гипотетически происходя из того же источника производит на наши глаза, наше осязание, наше обоняние и наш вкус эти и эти впечатления. Свойства суть частичные впечатления, которые мы

мысленно отделяем от целого, классифицируя их по нашим органам чувств. И поскольку ничто не в нашем рассудке, что не было прежде в чувствах, поскольку наше внимание так ограничено, наше сознание так узко, поскольку мы наконец, когда вещи постепенно приближаются, сначала всегда воспринимаем в них лишь какое-либо особое обстоятельство — либо цвет, либо тон, либо форму и т. д., — постольку мы можем вполне сказать, что свойства были первыми впечатлениями, которые мы имели от внешнего мира. Психология нас не опровергнет.

Совсем иначе обстоит вопрос, если мы поймём его исторически с точки зрения истории развития. Тогда мы вообще не сможем на него ответить. Ибо мы никогда не узнаем, дифференцировал ли уже человек какой-то праэпохи своё зрение, например, для цвета зелёного, когда он познал и назвал дерево как целое, или наоборот; никогда мы не узнаем, было ли для становящегося человека целое или часть раньше.

Как бы ни обстояло дело с сознанием первобытного человека, воспринимал ли он единственно воспринятые простые и сложные действия вещей больше как свойства или больше как деятельности, или даже сразу с древнейшей и дерзновеннейшей из всех гипотез проецировал субстантивные причины этих действий во внешний мир, — мы должны по нашему языковому сознанию понимать прилагательно то, что чувства и их комбинации рассказывают нам о внешнем мире. Об этом яблоке в моей руке я знаю, что оно гладкое, сладкое, красное, тяжёлое, что оно случайно при падении на землю становится слышимым и что оно мне приятно. Чем оно, помимо этих прилагательных, ещё может быть (всё, что мы знаем о нём как химики, как ботаники и т. д., можно было бы равным образом выразить в прилагательных), — это метафизический вопрос. Для нас оно есть группа прилагательных, из которых строится его телесность; чем яблоко является само по себе, того мы не знаем.

Построение телесности из свойств совершается до языка; и обезьяна, когда ест яблоко, вероятно, составляет из свойств «гладкий», «сладкий», «красный», «тяжёлый» и т. д. гипотезу о вещи-яблоке. Но как только язык через особые слова создал воспоминания о свойствах, стало возможно и близко — через подходящее составление прилагательных вызывать воспоминания о всевозможных вещах, обращать внимание на сходство признаков и так медленно начинать работу классификации, каталогизации мира по видам, — работу, которая ещё сегодня находится в грубых очертаниях и потому никогда не может быть завершена, ибо основания деления суть прилагательные или языковые слова, природа же о языке не заботится. Нам, бедным говорящим людям, однако, не остаётся ничего иного, если мы не хотим заблудиться в мире, как взять язык в вожатые. И внутри границ языка, с уверенностью, следовательно, что мы насилуем природу, мы обладаем в прилагательных единственной видообразующей частью речи.

С этим важным фактом связано, быть может, наблюдение, сделанное уже стариком Аделунгом и затем прослеженное Карлом Фердинандом Беккером; а именно что прилагательные очень часто выступают как пары противоположностей, как «большой» и «малый», «старый» и «молодой», «хороший» и «злой», «бедный» и «богатый», «тёплый» и «холодный», «тяжёлый» и «лёгкий» и т. д. и т. д., что в большинстве других случаев противоположность может быть образована через отрицательную частицу, как в «удобный» и «неудобный». Но нам вовсе не нужно с Беккером предполагать, что эта противоположность как-либо лежит в сущности прилагательного; это представление легко привело бы к вере в установленный Абелем принцип противоположного смысла праслов («древнейших слов»). Это может быть правильно для древнеегипетского, а именно для древнеегипетского египтологов, которые в конце концов должны были изобрести этот высший принцип непонятности, чтобы понимать тексты. Мы можем оставить возникновение противоположных прилагательных для времени языкового развития, в котором употребление прилагательных как видообразующих атрибутов стало всеобщим. Есть языковое возникновение видов. Ничто не было соблазнительнее, как чисто разделить объём каждого понятия на две части тем, что два противоречащих атрибута последовательно соединяли с высшим классом и волей-неволей образовывали эти противоречащие атрибуты. Совер-

шенно осторожно я хотел бы в этом месте указать на то, что многие прилагательные из вещественных имён возникли так, будто родительный падеж вещества получил прилагательный смысл. По моему языковому чувству в обозначении вещества всегда лежит обозначение вида, как в прилагательном атрибуте.

Беккер делает милое замечание (Organism der Sprache S. 109), что прилагательные могут быть возведены в сравнительные и превосходные степени, потому что формы сравнения обозначают лишь отношения усиленной противоположности; существительные и глаголы не могут быть ступенчаты лишь потому, что в них нет ничего противоположного. Во всяком случае примечательно, что искусственно образованные прилагательные, как причастия, лишь тогда допускают сравнительную и превосходную степень, когда через языковое употребление стали настоящими прилагательными, где они тогда, правда, легко получают нечто исключительное и тем самым противоположное. Однако у нас в немецком нет для этого совсем твёрдого обычая. Лессинг и Гёте образовывали степени от причастий там, где никто не захотел бы рекомендовать подражание.

Но чтобы после познавательно-теоретического исследования не пренебречь и малой пользой для грамматики: мне кажется, что спор о допущении подозрительных прилагательных мог бы быть решён вопросом об их видообразующей силе. При этом нет нужды напоминать о пресловутых примерах «скачущей артиллерийской казармы» и «тёртой масляной лавки»; Андресен заимствует подобные промахи у таких языковых мастеров, как Лессинг и Гримм; Лессинг однажды говорит «продувные женские роли», Гримм «нерождённые ягнячьи шкуры». Что здесь делается ошибка, бросается в глаза; ошибка же, мне кажется, состоит лишь в том, что видообразующая сила прилагательного по твёрдому языковому обычаю мысленно связывается с ложным словом. Это станет ещё очевиднее, если мы посмотрим на случаи, в которых ошибка не так легко чувствуется, — я имею в виду прилагательные, образованные от собственных имён. Весь мир говорит о «сократовском методе», «шиллеровских стихотворениях», «бисмарковской политике». Это нечисто, если словами должны быть обозначены политика Бисмарка, стихотворения Шиллера, метод Сократа. Но выражения безупречны и очень выразительны, если Сократ, Шиллер и Бисмарк мыслятся как творцы нового вида и имеется в виду: Лессинг, например, иногда упражнял сократовский метод, или нужно то и это, чтобы сметь делать шиллеровские стихотворения, бисмарковскую политику. Мы вспоминаем, от чего мы только что исходили при рассмотрении прилагательного. «Шиллеровские» стихотворения суть стихотворения, которые носят на себе особый признак, то есть целый вид; не об индивиде Шиллере хочет напомнить прилагательное, а о субъективном впечатлении, которое его духовная индивидуальность видообразующе произвела на нас.

V. Наречия. — Пространство и время.

Штейнталь и Бенфей, несмотря на некоторые противоречия, оба через языково-исторические исследования пришли к тому, что объявили наречие молодой, «так сказать, позднерождённой частью речи». Можно понимать наречие — как наречие места, так и наречие образа действия — как особый падеж имени и тогда имели бы лишь психологически объяснить, почему грамматики для этих отношений в конце концов установили особую часть речи. Главная причина будет, вероятно, снова та, что язык старше и богаче грамматики и потому при своих образованиях не мог считаться с потребностями грамматики, так же мало, как природа при порождении живых существ считалась с потребностью натуралистов в классификации. То, что мы теперь называем наречием, могло выражаться через аблатив и локатив, могло выражаться через инструменталис. В санскрите вследствие этих отношений вовсе нет нужды предполагать особые наречия или особый адвербиальный падеж. В латыни дело, кажется, обстоит так, что адвербиальные падежные формы на -ter, -tim, -itus (gradatim, funditus) до выработки латинской грамматики настолько ограничились, что их больше не нужно было принимать в известные формы склонения. Это ещё отчётливее наблюдается в греческом, где аблативное окончание -ως рано достигло господства как модальный падеж; тогда вскоре забыли, что это окончание принадлежало лишь определённому субстантивному склонению, оно через аналогию было привешено и к прилагательным другой формы. Поскольку старые адвербиальные падежи так нерегулярно исчезли из языковой истории, постольку и в хорошо исследованных языках так много необъяснённых наречий (Steinthal, Kleine Schriften S. 446 и след.).

Если мы таким образом видим в наречии лишь особый падеж, то мы поймём комическое затруднение грамматиков, которые именно потому сделали слова из этой группы значений особой частью речи, что они не склонялись. Представим себе однажды, что грамматик поэтому сделал бы из родительного падежа особую часть речи, потому что родительный падеж дальше не склоняется. Мы не видим основания поддерживать в наречии особый вид слова. Где так называемый корень наречия сохранился ещё в других формах, там его падежное свойство часто ещё вполне видимо; я ссылаюсь лишь на немецкие слова: rechts, links, flugs. Если окончание стёрто звуковым сдвигом или основа слова потеряна, тогда отношение, разумеется, уже не так прозрачно, как, например, в «bald», чьё первоначальное прилагательное (= быстрый, смелый, храбрый) нашему языковому чувству уже не налично.

Все наречия, следовательно, могли быть образованы лишь от склоняемых слов — от существительных, прилагательных, от местоимения и от числительного. Логический анализ высказанного в предложении суждения привёл к обозначению «наречие» (дословный перевод греческого).

В новых языках выработался очень конвенциональный способ из каждого прилагательного через определённое окончание создавать модальное наречие. Это особенно касается более школьных романских языков. Там, как учат их грамматики, например, во французском из каждого прилагательного через прибавление конечного слога -ment может стать наречие. Неучёный француз не знает, когда он из vrai (истинный) делает vraiment (истинно), что это столь привычное ему слово однажды возникло так же искусственно, как если бы он из какого-нибудь более редкого прилагательного через аналогическое образование делал соответствующее наречие, например, из énorme — énormément. Я замечаю к этому, что такие формы, как énormément, собственно не принадлежат лексикону, потому что они без исключения могут быть образованы от основы прилагательного, потому что они попали в лексикон лишь через утверждение грамматиков, что наречия следует понимать, как особый вид частей речи. Неучёный француз равным образом не знает, что конечный слог -ment есть не что иное, как определённая падежная форма латинского слова mens. Fortement встречается в латыни в форме forti

mente, с сильным духом. Аблатив от mens мог тем легче стать безударным окончанием, что латинское слово во французском не сохранилось (сохранение в mention языковому сознанию не налично) и таким образом изменение значения могло совершиться полностью. Макс Мюллер обратил внимание на то, что конечный слог -ment употребляется и тогда, когда о духе или душевном настроении уже не может быть речи, как когда, например, молот lourdement падает на землю, что далее предчувствие старого смысла ещё сохранилось в испанском, где вместо claramente, concisamente y elegantemente можно сказать изящнее: clara, concisa y elegante mente. В португальском по крайней мере ещё просвечивает женский характер конечного слога -mente.

Немецкий язык свободнее от школьности и употребляет абстрактное прилагательное очень часто без изменения формы как наречие. Конечный слог -lich очевидно имеет склонность (как в wahrlich, treulich) употребляться в смысле французского -ment, но языковой обычай не твёрд; часто в немецком можно выбирать между -lich и -ig. В остальном было бы поучительно указание, что немецкое -lich (английское like или также ly) в противоположность романскому -mente взято от тела (Leichdorn = шип в теле) и что Leiche или тело таким образом приняло значение «образ», как обратным путём латинского слова для духа.

Если, следовательно, наречие следует понимать не как особую часть речи, а как старую падежную форму (массовые наречия на -ment или -lich как падежные формы ставших формульными слов mens и Leiche в соединении с прилагательным), если падежные формы первоначально всегда указывают пространственные отношения, если предлоги, через которые новые языки выражают падежные формы, тем более первоначально суть предлоги пространства, — то мы будем приведены к заключению, что все наши наречия по происхождению суть локальные наречия. Само собой разумеется, что этот привлекательный вывод есть ложный вывод; ибо мы не имеем права распространять предположения об исторических падежных формах ещё и на доисторические. Но к этому присоединяется ещё многое, чтобы заставить нас крепче верить, что наречия первоначально не отделимы от отношений пространства.

Наше теперешнее мировоззрение, называет ли оно себя охотнее атомистикой или охотнее энергетикой, должно вести к представлению, что всё действительное, то есть всякое явление в нашем сознании, само по себе есть движение, движение в пространстве. В движение в пространстве разрешается всё, что всегда наши чувства сообщают нам о мире действительности, и в нашей духовной жизни нет ничего, кроме того, что чувства нам сообщили. Идеальный язык, следовательно, который ни в одном пункте не хотел бы впасть в противоречие с теперешним мировоззрением, должен был бы в каждое высказывание о действительности вкладывать понятие движения как первоначальное понятие действительности. Такие мысли были ещё несколько столетий назад немыслимы, были ещё несколько десятилетий назад редкими фантазиями, и потому не было бы удивительно, если бы старый язык ещё больше, чем он это делает, отклонялся от современного мировоззрения. Естественный человек знал движение лишь как макроскопическое явление, оно передавалось ему глазами лишь для грубых движений; то, что предлагали другие чувства, и даже свечение или цветной блеск зрения, в противоположность движению было состоянием покоя. Поэтому достаточно странно, что внимательное исследование языкового материала показывает, что относительно какое большое количество корневых слов, то есть необъяснённых слов, служит понятиям движения. У нас есть особые слова для движения живых существ, для движения воздуха и воды, снова особые слова для движения четвероногих, птиц, рыб, особые слова для особых целесообразных движений людей. Без предчувствия механических теорий современности движение стало для языка одним из богатейших понятий.

Всякое движение обозначает местные отношения, отношения к различным местам в пространстве. Все отношения в пространстве должны, это не требует доказательства, быть относительными; они относятся друг к другу и все в конце концов относятся к системе координат, которая проходит через точку стояния говорящего. Можно никогда ничего не слышать

о системе координат и всё же бессознательно работать с этим вспомогательным средством. Земля есть средоточие системы координат, по которой определяются неподвижные звёзды и всё остальное на небе, и это не изменилось и через Коперника; человеческий индивид есть средоточие системы координат, от которой исчисляются небо и звёзды, но также дом и деревня, и страна, обычай и закон, счастье и несчастье индивида. Мне не нужно сначала говорить, что это средоточие системы координат для различных человеческих индивидов одно и то же, как только речь идёт о расстояниях неподвижных звёзд, что это средоточие медленно становится различимым, чем меньше становятся расстояния. Для счастья и несчастья, для добра и зла точка стояния вполне индивидуальна. Для этических и эстетических понятий точка стояния у больших человеческих групп, называющих себя народами, индивидуальна, для вопросов человеческого познания место на земле почти так же безразлично, как для крайних величин астрономии. По крайней мере добрые люди ещё не спрашивали о познавательно-теоретических параллаксах. Поэтому выражение индивидуальной точки стояния или язык для этических и эстетических вопросов так различен у разных народов; поэтому языки показывают такое большое согласие там, где речь идёт о познании действительности, — всюду мы находим попытку языка ориентироваться в отношениях действительных вещей через пространственные отношения.

Если мы удержим образ системы координат, в точке пересечения которой стоит говорящий, то он никогда не может высказать ничего иного, как-либо пространственное отношение вещи к себе самому, либо пространственное отношение вещи к другой вещи; очевидно, последний случай есть лишь усложнение первого, потому что тогда обе вещи должны быть приведены в отношение к говорящему. Всё зависит от его точки стояния. Лишь высшее усложнение имеет следствием, что в общем пространственное отношение вещи к говорящему выражается через старые ставшие формульными наречия, что пространственное отношение вещей друг к другу выражается через другие вспомогательные средства языка. Мне не нужно сначала подчёркивать, что говорящий в несметных случаях метафорически переносит свою собственную точку стояния на другого человека или на какую-либо вещь. Что далее каждому направлению в пространстве соответствует противоположное направление, что поэтому наречия пространства охотно выступают парами — справа, слева, вверху, внизу, впереди, сзади; это настолько лежит в сущности пространственного явления, что ни один человек не живёт совершенно без этой аналитической геометрии. Духовно и телесно человек когда-то чувствовал себя больше, чем теперь, со своей землёй как средоточием мира; духовно и телесно приходящий к сознанию ребёнок чувствует себя средоточием своего мира. Он «тут», то есть в точке пересечения своей системы координат.

Мы приобрели бы нечаянные виды в сущность человеческого духа, если бы могли спуститься в праэпоху языка, в которой наречия «da» и «wo» отделились друг от друга. Но эта загадка никогда не будет решена. Мы должны довольствоваться тем, что рассматриваем эти два наречия как два ствола, из которых — действительно точно, как через флексию — развились многочисленные другие наречия пространства или направления. Если мы представим себе точку стояния, говорящего как чувственнейший ответ на вопрос «где», то в основе каждый другой пункт в пространстве можно свести к относительному положению, к отношению «откуда» и «куда». Для точки стояния говорящего это почти ясно без примеров. Примеры показывают нам лишь, как три ответа на вопросы «где», «откуда» и «куда» суть старые падежные формы так называемых корней, которые мы часто уже не можем этимологически проследить. В трёх немецких ответах hier, her и hin ещё чувствуется нечто вроде склонения; англичанин, который в своём существительном едва ли ещё знает склонение, едва ли может ещё чувствовать старые падежные формы в своём here, hither и hence. В немецком при этом представление ответа особенно на вопросы «откуда» и «куда» осталось настолько живым, что her и как приставка сначала всегда означает направление деятельности к говорящему, hin — движе-

ние от точки стояния говорящего прочь, направление от говорящего. При этом безразлично, употребляется ли последнее слово архаистически в своей полнейшей форме «hinnen» или корневой слог «hie» совсем выпадает и остаётся лишь вид падежного окончания «n», как в «'naus».

Не нужно особо говорить, что разговорный язык со своими старыми местными наречиями не обладает средствами определять место так точно, как геометрия со своими длинами абсцисс и ординат и всем своим аппаратом мер. Обыденный язык обходится для близости и дали с «приблизительно». Тем не менее и обыденному языку, если не для места вещи или деятельности, то для направления движения возможно чрезвычайно тонкое различение, но не дальше, чем идёт ориентировка негеометрического человека. Язык ощупывает в пространстве, как ребёнок своими руками, как взрослый человек своими глазами. Вспомогательное средство для этого — что говорящий переносит точку пересечения системы координат вне себя, в точку стояния другого человека или в точку стояния события. Можно было бы перенос точки пересечения математически точно направить по системе координат и измерить шесть возможных точек стояния вне «я» (справа, слева, внизу, вверху, впереди, сзади) на осях; в действительности обыденный язык и здесь довольствуется приблизительным, при «справа» и «слева», при «вверху» и «внизу», при «впереди» и «сзади» не думает о геометрически точных отношениях, зато для направления движения в состоянии выразить ответ на вопрос «откуда» и «куда» опять-таки через окончания на наречиях «справа» и «слева», «вверху» и «внизу», «впереди» и «сзади». Новые письменные языки, правда, многократно потеряли эту способность; они должны обходиться сочетаниями, как: «сверху», «снизу», «наверх», «вниз». Ещё готский обладал, однако, формами dalatha (внизу), dalath (вниз), dalathro (снизу); dalath мы собственно ещё имеем, когда говорим «zu Thal» о ниспадании рек. Очень красиво обладает чешский этой деклинацией направления в: dole (внизу), dolu (вниз), zduly (снизу); богаче всего такими формами направления кажется финский, который склоняюще отвечает на вопросы «где», «куда» и «откуда» для своих наречий «снаружи», «внутри», «вверху» и «внизу».

Ещё богаче становится число наречий направления, когда за точку пересечения координат берётся место, о котором не определяется, лежит ли оно справа или слева, вверху или внизу, впереди или сзади от говорящего, о котором лишь говорится, что оно инде, или где-то, или нигде; чешский склоняет все эти наречия для вопросов «где», «куда» и «откуда» и прибавляет ещё четвёртый падеж для вопроса «через что»; этот четвёртый, или каузальный, падеж, однако, излишен и неупотребителен и может по причинам, которые мы сейчас узнаем, быть заменён падежом «откуда».

Мимоходом лишь слово о совершенно естественном способе, как из этих наречий направления могли и должны были возникнуть наши так называемые предлоги. Следует показать, как просто скромный обыденный язык пользовался своими бедными словами для ориентировки в примитивной системе координат говорящего. А именно: если я переношусь в точку стояния другого лица или события, то мне нужно лишь сказать «справа», «слева», «вверху», «внизу», «впереди», «сзади», и обозначение места готово; это тогда называют наречием. Если же я потенцирую перенос точки стояния, переносясь сначала в другое место и оттуда снова обозначая пункт справа, слева, внизу и т. д., то я должен соединить наречие с предметом другого места, и так называемый предлог готов: справа от улицы, слева от улицы, выше Эннса, ниже Эннса, перед стеной, за стеной. То, что «справа» и «слева» в грамматике не перечисляются как предлоги, не может меня сбить; причина, вероятно, в том, что оба слова не столь старые создания, как «вверху» и «внизу». В частности, немецкий в Средние века обладал старым словом для правого (zese), которое лишь поздно было вытеснено метафорическим употреблением правильной, правой руки (детям ещё сегодня говорят «дай хорошую, красивую ручку»). Можно вполне сказать, что мы наречия направления, которые опираются на особо обозначенные места, тем более воспринимаем как предлоги, чем они старше, чем необъяснимее их этимология. Что эти предлоги «управляют» определённым падежом своего местного отношения,

этому сегодня лучшие школьные учителя уже не учат. Не от предлога, а от вопроса «где» или «куда» зависит, выражаем ли мы пункт, на который относится «впереди», «сзади», «вверху», «внизу», в дательном или в винительном падеже. Быть может, с ещё сегодня наличным в языковом чувстве падежным значением «где» и «куда» связано то, что мы эти два направления легко можем прикреплять ко многим наречиям; напротив, падеж для «откуда» у нас почти потерян, и так для этого направления образовался определённый предлог — наше «von», которое опять-таки во многих языках выступило как представитель отмирающей падежной формы родительного. Это наше «von» же, весьма вероятно (греческое ἄνω), произведено от наречия направления «вверху» или «над» и есть с точки зрения находящегося внизу ответ на вопрос «откуда»: сверху вниз, «вниз»; в Швейцарии ещё есть фамилии, как «Ab der Fluh», что соответствовало бы нашему «Von der Fluh». Чрезвычайно поучительно рассмотреть в этом отношении ближайше родственные предлоги; «für» ещё вполне явно наречие направления «vor». Как относятся формы ob, unter, vor, hinter к наречным формам oben, unten, vorn, hinten — это принадлежит к случайной истории немецкого языка; по моему языковому чувству употребление наречной формы как предлога было бы не только всегда понятным, но даже имело бы известную поэтическую, наглядную силу. Прислушаемся однажды: «вверху дерева», «внизу горы» и т. д.

Если наречия направления могли и должны были так в соединении с местом их отношения становиться так называемыми предлогами, то мы видим, как они в соединении с выражениями деятельности, с глаголами, претерпевают вторую метаморфозу и становятся безударными, но многозначительными приставками. Мы рассмотрим в этом отношении приставки er- и ver-; тут нам навстречу выступает сначала чистое наречие направления, а затем вся полнота метафорических применений. У нас, кроме немецкого, нет никакого нового культурного языка, который ещё столь природно показывал бы нам путь от пространственных отношений к другим.

Приставка er- во столь многих случаях тождественна с более старой приставкой ur-, что мы можем предположить: она либо возникла из неё, либо когда-то в какую-то переходную эпоху своего рода народная этимология их приравняла. Приставка ur- в новообразованиях, как они возникают особенно в дерзком языке студентов, приняла смысл усиления, как в urgemütlich, urdumm и т. д.; это употребление происходит, быть может, от слов, как: uralt, urdeutsch, затем Urbild, Urvolk, Urmensch, Ursprache, Urkraft и т. д., всё новообразования, в которых, как в первом из этих слов, приставка ur- указывает на глубокую древность вещи (несколько иначе развилось Ursache). Смысл происхождения из древнейшей эпохи мы понимаем, когда узнаём, что ur- (готское uz) в древневерхненемецком употреблялось и как предлог в смысле «из». Немногие старые слова, сложенные с ur, обычно выдают для внимательного уха смысл происхождения, который звучит и в производной приставке er-. Urkunde мы можем вполне возвести к Erkundschaft или Erkenntnis, Urlaub к Erlaub, Ursprung к Ersprung, Urteil к решению, которое выносит суд. Этот смысл направления движения изнутри наружу, часто снизу-вверх, в известном смысле к говорящему, правда, поблёк, причём одновременно произошло и оглушение приставки; ибо ur- ударно, er- безударно. Если мы теперь среди многих значений приставки er- поищем то, которое нашему языковому духу ближайшее, которое мы уже ощущаем при произнесении приставки, прежде чем произнесено основное слово, то мне кажется, не может быть сомнения, что это значение следует искать в движении к говорящему, в схватывании материального или духовного обладания. Если кто-нибудь начинает предложение словами: «Я себе это er...», то я ожидаю в качестве конца какой-либо глагол, выражение какой-либо деятельности, через которую «это» перешло в обладание говорящего. «Я себе это: erjagt, erklettert, erlauscht, erlauert, erschlichen, erbeten, erbettelt, erdrungen (Гёте), erfochten, erfischt, erkargt, erschmeichelt, ertrotzt, ersungen, ersessen, erweint (Шиллер), erlogen, erträumt». Едва ли есть глагол деятельности, который нельзя было бы так аналогически, хотя бы в шутку, соеди-

нить с er-. Мы можем выдумывать истории, которые кончаются тем, что состояние, положение, титул — что угодно — erradelt или erliebt, erstottert или erschrieen. Где непереходный глагол в соединении с er- становится переходным, там всегда речь идёт о желании или факте овладения, о движении к говорящему, как в: erharren, ersehnen, erstreben. Всем этим новейшим образованиям противостоят более старые сложения с er-, которые обозначают либо начало состояния, которое иначе выражал несложный глагол, как в: ergrünen, erglänzen; либо результат, особенно смертельный результат иначе безразличного события, как в: erfrieren, ertrinken. «Я полагаю, не ошибусь, если **эти два** действия приставки er- — а именно начало действия и конечный результат — объединю в смысле интереса для говорящего... приставки er- — а именно начало действия и конечный результат — объединю в смысле интереса для говорящего, соответственно того, на чью точку стояния становится говорящий. Результат действия есть то, что даёт событие, что оно мне выдаёт, что я себе вынимаю из факта. Очень примечательно теперь, как приставка ver-, теперь противоположность er-, лишь медленно вросла в эту противоположность. Ещё в более старом нововерхненемецком говорили аналогично только что упомянутым словам, например, erarmen, erhungern, где мы теперь должны говорить verarmen, verhungern; провинциально же теперь ещё многообразно употребляется ver- в смысле er-. Но особенно в метафорическом применении выработалась резкая противоположность; мы должны говорить erhöhen и vertiefen, erweitern и verengen. Говорящий, следовательно, охотно становится на самую благоприятную, на самую почётную точку стояния; он стоит на высокой, на широкой точке стояния. То, что повышается, что расширяется, кажется ему движущимся изнутри наружу, снизу-вверх к нему; то, что углубляется, что сужается, движется от него прочь и сохраняет эту языковую форму и тогда, когда, например, углубление обозначает не презренную дыру в земле, а метафорически большую основательность.

Эту приставку ver- этимологически (даже с помощью народной этимологии) нельзя объяснить так просто, как приставку er-. Пытались связать её с двумя или тремя разнозначными готскими или так называемыми индогерманскими корнями. Для нашего языкового чувства она означает, безразлично, тождественна ли она тут с готским fra- или нет, противоположное направление от er-, исчезновение или гибель, устранение или уничтожение, и притом также с тем успехом, что слушающий это ощущение уже получает, как только произнесена приставка. «Это ver...» тотчас порождает ожидание, что нечто исчезло или потеряно, и следующее основное слово даёт лишь ближайший вид исчезновения или потери. Снова едва ли есть глагол, который нельзя было бы языково-обычно или шутливо сложить с ver-, и основное воззрение при этом всегда есть движение от говорящего прочь, именно потеря. Можно своё состояние, своё здоровье, свой разум verfressen и vertrinken, verbuhlen и verspielen; можно всё это verjubeln, можно (здесь языковой обычай несколько уже) свою юность, свою жизнь vertrauern, то есть потерять через недостаток употребления. «Она verjammert и verbetet свою жизнь» (Гёте). Прочь из восприятия говорящего, в дальнейшей метафоре прочь из намерения говорящего ведут сложения, как: verlegen, verkramen, verfitzen, verbauen, verzeichnen, verziehen и т. д. Вполне телесно пространственное удаление выражается в: verjagen, vertreiben, versenden, verschleppen и т. д. и т. д. Очень часто в сложениях с ver- лежит нечто презрительное; так veralten раньше (у Лютера, но и ещё сто лет назад) означало не больше, чем «становиться старым»; теперь оно означает «становиться непригодным через старость, особенно выходить из моды». Лютер и Гёте могли ещё говорить об устаревших корнях, об устаревшем дереве; сегодня говорят в лучшем случае ещё и о том, что тюльпан — устаревший цветок или что он снова вошёл в моду.

Из всего до сих пор сказанного можно прежде всего узнать, что язык в своих обозначениях отношений направления действует без правил, то есть произвольно или случайно, употребляя то наречия, то предлоги, то приставки глаголов, и что предлоги и приставки суть не что иное, как наречия, которые дифференцировались в форме, смотря по тому, подступили

ли они к существительному как к кажущейся покоящейся причине чувственного впечатления или к глаголу как к кажущейся непосредственно созерцаемой деятельности.

Если мы возьмём дело психологически и строго к тому же, то получим поразительное подтверждение приобретённого убеждения, что вещи и деятельности, или существительные и глаголы, суть лишь оптические обманы нашего человеческого рассудка, что мы в действительности никогда не воспринимаем вещей и деятельностей, никогда — причин наших впечатлений и целей движений, а всегда лишь свойства мира действительности, то есть действия на нас, которые в педантично логическом языке мы могли бы выразить только прилагательными. Отношения направления (которые затем метафорически со-обозначают отношения времени, основания и т. д.) привязываются поэтому лучше всего к прилагательным, от которых грамматика ведь и производит все новейшие наречия. С существительным соединённое наречие становится предлогом, потому что отношение направления ещё раз выражается через падеж существительного и этот падеж, кажется, зависит от предложного наречия. С глаголом соединённое наречие стирается до приставки; но эта приставка с большим правом носила бы имя наречия, чем самостоятельное слово для отношения направления.

Если мы возьмём дело в смысле грамматики, то более древнее наречие является нам, как сказано, падежной формой какого-то праслова отношений движения, и ничто не мешает понимать падежные формы, которые до возникновения наречий как раз выражали эти отношения направления, как ещё более древние, значимые словоформы, как падежные формы ещё более древних слов общей деятельности. Тогда окончания склонения первоначального языка подступили бы к корневым слогам так же, как формы склонения новых языков образованы с помощью наречий, то есть предлогов. Я не хочу умножать фантазии прошлой и настоящей этимологии и отказываюсь выводить такие конечные слоги из столь обильно имеющихся во всех языках глаголов движения.

Прежде чем я кратко укажу на метафорическое употребление обозначений пространства, я хотел бы ещё раз подчеркнуть склонность языка передавать местные отношения через отношения движения. Сравнение «стоять» и «ставить», «сидеть» и «сажать» позволяет предполагать, что понятие движения может быть древнее, чем понятие состояния; «жить» (родственное [?] латинскому venus и санскритскому vanas — «радость») первоначально, кажется, имело смысл «обретать любовь»; в слове «обретать» (gewinnen) может, быть может, скрываться ещё более древнее значение той же основы. В параллельных обозначениях «стоять — ставить», «сидеть — сажать» со-отвечаются вопросы «где» и «куда». Я предполагаю, что ответ на вопрос «куда» древнее, чем ответ на вопрос «где», потому что наш образ системы координат учит нас, насколько легче естественному человеку ориентироваться в направлении к себе или от себя, чем в месте. Направление может быть выражено одним-единственным измерением, место даже в простейшем случае — только двумя измерениями. С этим может быть связано то, что часто ответ на «где» происходит через форму, которая иначе собственно есть падеж для вопроса «откуда». Позже для этого падежа «где» развились побочные падежи, и совершенно безразлично, что этот падеж «где» в греческом совпадает с дательным, в латинском — с аблативом, в славянском — с локативом. Как столь часто старые формы сохранились именно в самых ходовых словах, так в латыни пространственное отношение через падеж направления при слове domus обозначается лишь тогда, когда domus обозначает «дом» как родное место, через предлоги — когда оно обозначает вещь «дом». Подобные падежные формы направления находятся именно при том же понятии в древневерхненемецком (heime, heim и heimina) и в славянских языках.

Но теперь, чтобы исключить недоразумения, должно быть прямо указано, что естественный человек и ребёнок ничего не знают о системе координат, что все направление-дающие звуки — будут ли то падежные окончания, наречия, предлоги или приставки — указывают направление не так однозначно, как в геометрии. Мы ведь давно знаем, что слово становится

понятным лишь через предложение, предложение — лишь через ситуацию, ситуация же — лишь через всю личность говорящего, через его собственное развитие. Поэтому не удивительно, что смысл наречия и т. д. становится ясным не через звук, а поистине лишь через смысл, через ситуацию говорящего. Ситуация говорит нам, означает ли, например, «zu» — ко мне или к другому месту, относится ли «под», «над» ко мне или к другому, или, быть может, эти слова относятся к противоположностям внутри и снаружи. По ситуации говорящего наречия и т. д. могут очень легко выражать прямые противоположности; и достаточно часто в языковом употреблении через изменение формы наречие дифференцировалось до таких противоположностей. Cum и contra, sub и super могут послужить примерами.

Без фантазии, разумеется, не обойтись, когда я теперь попытаюсь — более схематически, чем исторически — набросать развитие пространственных отношений в частях речи и затем метафорическое применение пространственных отношений в частях речи. Разумеется, в праэпоху, которую я предполагаю, и которая может простираться на неизмеримые промежутки времени с верхом и низом пути, нет ещё и следа грамматического сознания частей речи. Но после изобретения грамматики мы не можем говорить о грамматике иначе, как грамматически.

Итак, речь идёт о том, как развивающийся язык ориентировался в формах мировоззрения, которые мы теперь называем пространством, временем и причинностью. Психология простейших живых существ, протистов, позволила нам (I. 350) предположить, что в истории разума была эпоха, в которой из этих трёх представлений наличествовали только пространственные представления. Из пространство-созидающего чувства осязания развились и до человека остальные чувства. Но это невозможно понимать так, будто в бессознательной жизни организмов представления времени и причинности, а в конце концов только представления причинности, совершенно отсутствовали. Мы должны представлять себе жизнь языка или мышления так, что она инстинктивно вступила на путь от причинности к пространству, чтобы затем при более сознательном употреблении пространственных понятий снова продвигаться назад ко времени и причинности.

· Я представляю себе грамматически недифференцированную полноту понятий некоей праэпохи, в которой отдельные слова имели более прилагательный характер, выражали действие вещей и изменений на индивида, то есть жили причинностью, не постигая, однако, ясно внешний мир как объективную причину этих впечатлений. Индивид краснел от плода, согревался от солнца, получал толчок от падающей ветки, без того чтобы с этими прилагательными, которые мы вынуждены выражать глагольно, были явно связаны отношения направления или пространства. Цвет, тепло, толчок ощущались в индивиде. Тем, что индивид в своих движениях приспосабливался к этим ощущениям — ел красное, искал тепло, избегал толчка, — он признавал восприятия действиями, конечно, без того чтобы выражать их языково (**словесно**) как явления причинности. Мы можем вполне понять, как затем позже объективный внешний мир сначала образовался в представлениях глагольного характера как пространственное созерцание направления движения, ещё позже в представлениях субстантивного характера как пространственное созерцание места. Так могли чистые ориентировки в пространстве выступать за то, что теперь для нас суть представления пространства, времени и причинности. Когда затем язык попытался своими средствами формировать представления времени и наконец представления причинности, которые образовались, тогда язык поступил как мышление, потому что мышление есть язык: он выразил через пространственные понятия сначала временны́е отношения, а затем понятия причинности. Я замечаю ещё, что языковой исход от пространства особенно сильно навязывается, если мы вспомним, как дейктические указания, ещё сегодня наличные в указательном местоимении, были привязаны к первоначальному употреблению языка. Древнее «da», которое могло и может явиться для каждого прилагательного, каждого глагола и каждого существительного, мыслится пространственно, тем более пространственно, когда оно означает настоящее. «Gegenwart» (настоящее) связано с «wärts» (в направлении)

(быть может, также с латинским verto), а это означает столько, сколько «повёрнутый в определённом направлении».

Употребление пространственных понятий для временны́х отношений во всех языках до сего часа так всеобще, что примеры для этого для наблюдателя языка излишни, для новичка ошеломляющи и убедительны. Мы называем время просто долгим или коротким, более долгое время даже ещё смелее — промежутком времени (Zeitraum — букв. «пространство времени»). Начало и конец вполне привычно говорится о времени, как о пространстве. Очень мило, как во французском крайняя близость времени обозначается словами направления пространства: il vient d'arriver и il va partir. Оба оборота собственно суть плеоназмы. «Он идёт, он идёт», то есть он приходит сейчас; «он идёт, он идёт», то есть он уходит сейчас.

Объективное временно́е отношение не выражается также и так называемыми наречиями времени — как это ложно утверждалось; точно то же, что могут временны́е формы глагола, по языковому обычаю совершает и наречие. И многим наречиям ещё сегодня видно, что они пытались выразить ориентировку во времени через пространственную метафору. Очень интересное наречие «wo» (где), которое наверняка спрашивает о месте, употребляется в относительном придаточном в временно́м смысле, хотя и не так часто, как «da», которое в свою очередь, как и другие наречия времени, легко получает причинное значение. Направление «откуда» и «куда» выражалось раньше через своего рода флексию «wo», через wannen и war; в «wann» или «wenn» чисто выделилось временно́е определение, возникшее из пространственного образа, только что причинное или условное значение снова прибавилось. Резкое разграничение в употреблении wann и wenn, как его уже требовал Аделунг, до сегодняшнего дня не проведено ни в разговорном, ни в поэтическом языке. Общим для пространственных и временны́х отношений является и латинское ubi. Но даже после совершившегося изменения значения, после того как языковой обычай разделил наречия времени и места, всё ещё можно время изображать через место и место через время; только что при временно́м употреблении «wann» мы больше не чувствуем сознания метафорического способа речи, но снова сознаём лёгкую метафору, когда мы, например, «hie und da» (здесь и там) употребляем как временно́е определение, «dann und wann» (тогда и когда) — как местное.

Это указательное, дейктическое, то есть демонстративное происхождение очень многих наречий времени часто лежит на виду, часто стало неясным в истории языка. Мило можно разъяснить те случаи, в которых только что цитированное указательное местоимение «hie» (= здесь) как темпоральное демонстративum привело к образованию наречий времени. «Heute» (сегодня) наверняка пришло из старого «hiu tagu» через hiutgu и hiuttu к своей «сегодняшней» форме. Происхождение настолько исчезло из языкового чувства, что Лютер однажды мог сказать «heute dieses Tages», и по областям ещё сегодня встречается выражение «heutiges Tags» или «heutes Tags». Мы знаем, что когда-то двадцать четыре часа полного оборота земли считали по ночам; оттуда, быть может, происходит наречие, которое некогда шло рядом с «heute», которое в древневерхненемецком называлось hī — naht, в средневерхненемецком — hīnet и которое в южнонемецких диалектах ещё сегодня употребляется как «heint» вместо нашего письменного «heute». Равным образом из hiu jāru возникло южнонемецкое наречие heuer (= в этом году), которому северонемецкий письменный язык, к сожалению, всё ещё не открывается. Параллельное образование к «heutiges Tags» находится в романских языках, как, впрочем, латинское hodie (hoc die) вполне соответствует немецкому heute. Из hodie возникло итальянское oggi, из этого в свою очередь oggidì, в котором «dies» (день) встречается, следовательно, дважды, как в heutes Tags, как во французском aujourd'hui.

Ориентировка во времени через метафорический перенос ориентировочных слов пространства должна была привести к тому, что через древнейшие наречия времени, пожалуй, могла выражаться временна́я близость и даль, но не всегда направление «откуда» и «куда», не всегда, следовательно, различие между прошедшим и будущим. Немецкое «da» (также

«einst»), латинское tunc, английское then выражает как будущее, так и прошедшее. Наречия, которые относятся исключительно к будущему или к прошедшему, суть новообразования. Это можно ясно видеть на простейших понятиях для этих отношений, на «morgen» (завтра) и «gestern» (вчера), и при этом обрати внимание, что эти почти простодушные наречия всё же с трудом понимаются детьми и ещё на пятом году смешиваются друг с другом. «Morgen» первоначально означает время дня, рассвет; насколько слово связано со славянским словом для темноты и тем самым объясняется значение сумерек, нас здесь не касается. Во всяком случае готский ещё не знал употребления «morgen» для следующего за сегодняшним днем. Лишь в древневерхненемецком «morgane» означало столько, сколько «утром», а именно завтрашним утром. Точно так же из латинского mane возникло французское demain, итальянское domani. Не так просто обстоит дело с «gestern», которое обнаруживает коренное родство с латинскими и греческими словами, уже обозначающими прошедший день. Именно в германских языках, однако, «gestern» (готское gistra dagis, древнесеверное í gær) обозначает другой день, может, следовательно, стоять и за завтра. Лишь позже в немецком, английском и нидерландском утвердилось употребление для прошедшего другого дня.

Сложнее изменение значения в двух наречиях, которые в определённом направлении выражают противоположность к более раннему и более позднему времени, в наречиях «schon» (уже) и «erst» (только). «Schon» в смысле «не позже» и «erst» в смысле «не раньше» кажутся нам очень необходимыми временны́ми частицами и всё же суть новейшие создания языка. «Schon» доказуемо есть не что иное, как наречие от «schön» (прекрасный), и ещё в средневерхненемецком не имеет значения временно́й частицы; оно означает скорее столько, сколько «прекрасным, порядочным, правильным образом»; его можно было бы часто перевести как «правильно» или «полностью». Конвенционально слово затем употреблялось так же, как «auch», в сочетаниях «ob schon», «wenn schon», но лишь примерно со времён Лютера. Временно́й характер получает «schon» в предложениях, как «er wird schon kommen» (он уж придёт), «es wird schon reichen» (уж хватит); причём, однако, успокаивающее уверение, что всё будет в прекраснейшем порядке, ещё со-понимается. Лишь когда это «schon» применяется к прошедшему факту, получается новейшее значение «не позже»; «er ist schon gekommen» (он уже пришёл) имеет, следовательно, всё ещё побочный смысл: он пришёл, как подобало, порядочно, в правильное время. Нечто от первоначального значения «прекрасный» скрыто ещё и в слегка ироническом употреблении слова; «wir zahlen schon genug Steuern» (мы уж платим достаточно налогов) напоминает сначала, что уже наличных достаточно и без будущих грозящих, но рядом с этим по мнению говорящего чрезмерно высокие налоги иронически называются «настоящими» налогами, так что в том же смысле можно было бы сказать: «Мы платим прекрасно налогов, мы платим порядочно налогов». При этом изменении значения наречие от «schön», которое первоначально выражало порядочное состояние покоя или успокоения, постепенно получило настроение нетерпения, которое лежит в основе значения «не позже». «Wie heisst er doch schon?» (как же его зовут-то?) равным образом во французском: comment donc s'appelle-t-il déjà? (déjà, jà). Акцент нетерпения или успокоения нетерпения, смотря по тому, вопрос это или ответ, можно часто найти и в столь простом употреблении «schon gestern» (уже вчера). «Warum ist er nicht schon gestern gekommen?» — «Er ist schon gestern gekommen.»

Параллельно идёт употребление «erst morgen», то есть не раньше завтра. И это наречие «erst», которое нам теперь столь несомненно приводит в сознание сравнительное понятие «не раньше», означало «сначала» — точно противоположное, а именно «раньше». Это превосходная степень к слову, которое, быть может, некогда означало раннее время дня, как «Morgen», которое в сравнительной степени «eher» ещё сегодня означает столько, сколько «раньше», которое затем в превосходной степени сначала действительно усилительно указывало на первый, самый ранний, передний временной момент или предмет («erst komme ich» — сначала иду

я), но затем чаще всего обозначало событие, которое должно было произойти раньше главного события. «Erst Kinder und dann Brot für sie zu schaffen.» (Сначала детей, а потом хлеб для них.) Если возможно ещё нагляднее становится значение «раньше» в предложениях, как: «Erst war er pünktlich, bald aber kam er ins Bummeln.» (Сначала он был пунктуален, но вскоре начал бродяжничать.) Из этого «раньше» в новейшее время стало столь же решительное «не раньше». Противоположность не может быть сильнее. «Er kann erst morgen kommen.» (Он может прийти только завтра.) Это переворачивание языкового обычая позволяет глубоко заглянуть в сущность языка. Мы узнаём лишь из нашей критической логики, что не мысль делается ясной через слово, а всегда колеблющееся слово — через иногда ясную мысль. При «erst» отрицание лежит в представлении говорящего, что предполагаемый временной момент должен был наступить раньше, чем событие, на которое кладётся акцент, что завтрашний день должен быть налицо, прежде чем он придёт, что он не может прийти раньше. Насколько наши оба наречия «schon» и «erst» выбираются по настроению говорящего, можно видеть из того, что их ценность объясняется лишь из состояния ожидания, когда, например, влюблённый ждёт свою возлюбленную, смотрит на часы и в зависимости от времени свидания либо нетерпеливо говорит «es ist schon ein Uhr» (уже час), либо успокаивая себя «es ist erst ein Uhr» (только час). Он мог бы с тем же успехом с изменённым ударением говорить или с изменённым чувством думать «es ist ein Uhr» (час). Решает час свидания. Настроение нетерпения или успокоения было у людей уже налицо, когда эти наречия времени ещё не были образованы. Французский выражает наше «erst» всё ещё через описание, через ne-que. Иногда вместо этого выступает donc, впрочем, не в производном негативном смысле. Et moi donc! И я только! Donc же есть латинское tunc, то есть временна́я частица, которая вполне хорошо соответствует нашему «раньше».

Временны́е отношения, которые не настолько обыденны, чтобы для их обозначения образовались наречия, выражаются через существительные времени в соединении с предлогами. Zu Ostern, vor Ostern, nach Ostern. Временно́е значение этих предлогов имеет вполне позднейшую дату, произведено от более старого пространственного значения. Но даже временно́е определение в этих существительных всегда уже производно. В этом отношении история наших слов для времён дня и времён года чрезвычайно поучительна. «Herbst» (осень) в верхненемецком ещё означает сбор плодов или винограда и этимологически приводится в связь с καρπός (плод). Этимология «Winter» (зима) совсем неопределённа; не знают, следует ли приводить слово в связь с бурей, снежной бурей, ветром или «белым»; но очевидно, что слово древнее, чем осознание регулярно возвращающегося времени года. Говорят, ли теперь «im Herbst», «im Winter», мы ещё сегодня чувствуем, что понятие времени понимается пространственно, примерно, как: в Норвегии, в Сибири.

Язык не может образовывать понятий времени; понятия пространства должны в побочной службе определять время. Мы ещё увидим или будем думать, что видим, почему это так произошло. Во всяком случае это языковое употребление так старо и так всеобще, что мы вовсе не имеем чувства метафоры, когда мы, например, пространственное понятие «долгий» переносим на время. Оно и давно уже не метафора. Вместо того чтобы накоплять примеры, которые всегда учили бы одному и тому же, я хотел бы указать на одно показательное слово, которое применяет пространственное понятие сразу дважды ко времени и так, почти можно сказать философски, выражает сильное сознание времени, без того чтобы этот путь дошёл до сознания. Я имею в виду слово Langeweile (скука). «Lang» выражает одно измерение пространства и затем одно измерение времени. Это относительное понятие: то, что мы называем долгим, всегда долго по отношению к другому измерению. «Weile» мы теперь ощущаем лишь как отрезок времени; но оно вероятно связано с древнесеверными словами для покоя (hvild), примерно также с латинским quies, и первоначально обозначало точку покоя, место отдохновения в пространстве; hvila в древнесеверном означает постель. Langeweile означает, следовательно, строго исторически именно то, что оно заставляет нас ощущать сегодня: момент времени отдохнове-

ния, который кажется нам относительно долгим. Милое слово есть специфически немецкое изобретение. Когда француз говорит ennui, что довольно наверняка происходит от латинского in odio, он думает непосредственно о досадности скуки, а не о длине времени.

Метафорический переход пространственного понятия через понятие времени к понятию причины мы можем наблюдать на том же слове Weile. Из винительного падежа этого пространственного понятия, которое тем временем давно стало понятием времени, возникло оборотное die Weile или dieweil, которое наконец вводило придаточные предложения и так в смысле «пока» стало союзом. «Dieweil Mose seine Hände emporhielt, siegete Israel.» (Пока Моисей поднимал руки свои, побеждал Израиль.) Из усиления alldieweil мы ещё слышим временно́й смысл. При dieweil, как мы его охотно употребляем в архаизирующем языке, метафора времени ещё не совсем потеряна. Сокращённое weil ещё у Лессинга и Шиллера употреблялось в временно́м смысле (= когда), сегодня оно стало вполне причинным союзом.

Подобным образом возникло причинное «denn». Ещё в начале XVIII века в языковом употреблении оно было вполне равно временно́му «dann». Возникновение dann хотя и не вполне ясно, но оно всё же, вероятно, падеж направления от da и падежная форма указательного местоимения, указывающего, то есть место-указующего da, во всяком случае первоначально пространственного. К этому следует ещё заметить, что, например, наше противопоставительное dennoch (раньше dannoch) однажды было временны́м, ещё раньше, следовательно, пространственным. Всюду тут, разумеется, во времена переходов была налицо ещё более сильная неопределённость.

Поскольку мы на пути понятий от пространственных к понятиям временны́х представлений ещё однажды приняли во внимание и переход от временны́х к причинным и родственным представлениям, постольку должно быть особо обращено внимание на то, что перенос временны́х форм глагола на понятия модуса возможности и т. д. не вполне попадает в область метафоры (например, si je pouvais, ср. также B. III. S. 72). Ведь верно, что только настоящее нам действительно, что, наоборот, только действительный процесс либо кажется нам настоящим, либо непосредственно относится к настоящему как прошедшее или будущее. Это несобственное употребление, когда мы употребляем языковые формы будущего для возможного процесса, когда некоторые языки особенно отрицательные условия, то есть невозможности, выражают в временны́х формах прошедшего. Можно даже у живо жестикулирующих лиц заметить (я сделал наблюдение над галицийскими евреями), что они применяют пространственную метафору и как возможность, так и невозможность отодвигают руками от пространственного настоящего. Возможность, «быть может», становится пространственной через то, что сначала плечи, а затем руки устремляются вверх, в известном смысле к возможному будущему; убеждение в невозможности выражается отмахиванием, отодвиганием в сторону правой рукой. Но где такие понятия модуса образовали свои определённые формы, как особенно в латыни и французском, там эти сложные представления нашли именно формы, которые уже не метафоричны. Правда, старые временны́е формы глаголов использованы, но они и звуково дифференцированы до форм модуса. В немецкий языковой обычай в этом колеблющ, в Северной Германии логичнее, чем в Южной. Английский особых форм модуса почти вовсе не знает.

То, что всё же метафорично в использовании временны́х форм для форм модуса, но особенно метафорическое употребление наречий времени как понятий причины, ведёт тотчас к последним вопросам человеческого познания. Если понятие причины, как учили последовательнейшие скептики, действительно только вмышлено в понятие времени, если мы действительно знаем о явлениях только то, что они следуют друг за другом, а не то, что последующее есть через предшествующее, — тогда язык поступает мудро, выражая основание только через наречия времени, и мудрее всех — австрийский языковой обычай, который с бессознательным скепсисом употребляет «nachdem» (после того как) чисто причинно. Не только реальное основание, даже основание познания объявляется в Австрии через «nachdem». «Nachdem es geblitzt

hat, ist ein Gewitter da.» (После того как сверкнуло, есть гроза.) Юм мог бы быть доволен. И можно сказать, что эта ворчливая манера, которая проницательно, но бездеятельно довольствуется критикой, вполне хорошо согласуется с характером немецких австрийцев.

Не столь глубоко проникающая, потому и не столь легко отделываемая понятиями, есть первая метафора, которая ведёт от пространственных понятий к понятиям времени. Почему наш мир, как он представляется в нашем языке, так чрезвычайно пространствен? Почему мы ориентируемся в трёхмерном пространстве раньше, чем в одномерном времени? Ибо это одно только и может быть причиной того, почему отрезки времени всегда могут высказываться только через отрезки пространства. Почему пространство в человеческом рассудке было раньше, чем время?

Потому что наш орган зрения доставляет нам из мира действительности более богатые данные, чем какой-либо другой орган чувств. Потому что наш орган зрения попутно всегда служит органом пространства. Потому что мы в слухе не в такой же мере попутно обладаем органом времени. Спор о том, дают ли нам наши глаза непосредственно пространственные представления во всех трёх измерениях (также измерения глубины), или пространственные представления возникают из данных зрения лишь в рассудке, для нашего вопроса совершенно побочен.

Для научного познания время, самое долгое и самое короткое, можно определить так же хорошо, как пространство. Иначе для простого человеческого рассудка или для животного рассудка. Скаковая лошадь, которая прыгает через ров или одеяло, стрелок, который попадает в сокола в полёте, кладут в основу своих мышечных движений пространственные меры, с которыми в его невольной оценке времени ничто и отдалённо не может сравниться. Причина столь необычайно проста. На точку места можно указать пальцем, на точку времени нельзя. Время мы не воспринимаем ни одним органом чувств. Я хотел бы сравнить наше восприятие времени примерно с восприятием места, которое нам предлагает слух, когда мы для восприятий места не особенно его вышколили. Мы слышим тогда примерно некоторые различия близости и дали, примерно различие направления; не больше. И более глубокая причина этого, вероятно, та, что при данных глаза чувство пространства, наиболее осязаемое, чувство осязания и мышц, существенно соучаствует, при данных слуха — нет, по крайней мере недоказуемо у человека. Представим себе орган слуха, который при каждом звуке мышечными движениями поворачивал бы ушную раковину так, чтобы звук попадал на участок наиболее отчётливого слышания («восприятие звука»), и который, кроме того, приспосабливал бы внутреннее ухо к расстоянию до источника звука. Представим себе далее устройства, которые при каждом звуке координировали бы работу обоих ушей — и во внутренних, и во внешних их частях, — тогда мы должны были бы ожидать от ушей таких же указаний на место, какие мы теперь получаем через глаза. Таких ушей у нас нет. Но и такие уши были бы ещё не в состоянии в побочной службе так снабжать чувство времени, как наши глаза снабжают чувство места. И притом по причине, которая настолько достаточна, что нигде больше не следовало бы искать. При ориентировке в пространстве память выступает лишь во второй или третьей линии; представления времени создаются вообще только памятью. Это коренное различие между пространством и временем ещё никогда не было использовано для выяснения этих вопросов.

Когда человечество училось говорить, память была наверняка достаточно развита, чтобы делать возможными воспоминания и наверняка также ожидания. Но ощущали ли люди уже тогда себя стоящими на граничной точке одномерного направления между прошедшим и будущим — это мне кажется вовсе не столь решённым. Наши дети от двух до трёх лет, которые в трёх измерениях пространства разбираются, как старые математики, ещё не могут применять простые понятия времени «вчера» и «завтра», прошедшее и будущее, потому что ещё не могут их схватить. Я однажды очень умному ребёнку двух лет и восьми месяцев различие «раньше» и «позже» с выражениями «сзади» и «впереди» с хорошим результатом сделал ясным. Ребёнок

после несметных тысячелетий снова образовал метафору, которую мы в словах «прошедшее», «будущее» вовсе больше не ощущаем.

Пространство при видении всегда настоящее. Для пространства память не имеет иной функции, кроме той, что она нам (помимо малой помощи ориентировки в темноте) позволяет представлять абстрактное, геометрическое пространство. Наша наука об абстрактном пространстве была бы без памяти невозможна; для нашей ориентировки в — я хотел бы сказать — практическом пространстве нам достаточно наших глаз в настоящем. Инструмент так тонок, что места, образы которых на сетчатке лежат лишь в 3/1000 миллиметра друг от друга, ещё отчётливо различаются. Такие тонкие деления времени есть в абстрактной науке также. Тонкие различия времени ощущает слух музыканта, но всегда лишь через их эстетическое действие, не так непосредственно, как глаз — пространственные различия.

И где глаза отказывают, там ведь всегда ещё есть собственно пространство-созидающее чувство, осязание, которое всегда делает пространственные обстоятельства настоящими, столь неизменно настоящими, что мы обходим вокруг пространства и можем рассматривать пространственные отношения вещей со всех сторон, проверять их неизменность и так, быть может, лишь впервые пришли к тому, чтобы считать чем-то действительным не только пространственные отношения, но и абстрактное пространство, что затем было перенесено на время.

Относительная реальность абстрактного пространства, относительная идеальность абстрактного времени странно выдаёт себя в том, что последние выводы из понятия времени, потому что оно было более пустым словом, были сделаны раньше, чем выводы из понятия пространства. Бесконечность пространства, а именно, хотя и преподавалась уже старыми атомистиками, но до сего часа не вполне вышла из школьного спора. Ещё Вундт однажды сделал попытку приблизить ограниченность пространства к способности представления. Бесконечность же времени, так называемая вечность, есть древнее понятие. Когда мы говорим о времени и вечности в формулах, при этом участвует христианское представление, которое понимает время как ограниченное земное время, а вечность — как неограниченное небесное время. Ничто не естественнее, чем колебание человечества столь же безгранично расширить понятие пространства. Ведь мы верим, что видим на небе границы пространства.

Я хотел бы добавить ещё одно замечание — не об органах, а о местах чувства времени и чувства места. Спенсер априори выставляет гипотезу и верит, что может поддержать её впоследствии многочисленными наблюдениями, что у животных и людей мозжечок есть орган чувства места, большой мозг — орган чувства времени. Время, надеюсь, недалеко, когда оставят искать столь слововерчески локализацию словообразованных провинций мышления. Я верю, что при таких исследованиях часто вижу людей, которые играют друг с другом в жмурки, но так, что все участники действительно слепы и каждый отдельный ощупью бродит в своём собственном замкнутом саду. Они не находят друг друга. Но если бы Спенсер сказал только, что работа памяти (я охотно сказал бы: сознательная работа памяти) происходит в большом мозге, тогда было бы само собой разумеющимся, что большой мозг между прочим есть и место чувства времени, как он должен быть местом абстрактного чувства места. Если мозжечок хищных птиц показывает необычайно сильное развитие и так объясняет, что хищные птицы способны чрезвычайно остро схватывать дистанцию и направление полёта своей добычи, то этот мозжечок всё же недостаточен, чтобы дать понять пифагорову теорему.

VI. Имя числительное

Мало какие результаты этимологии представляются столь надёжными, как общность «корней» в числительные индоевропейские языки; прослеживать *dva* и *tri* во всех их изменениях — конёк языковедов. Но что, если это соответствие можно объяснить гораздо проще, без всякой этимологии — заимствованием? Что, если народы, о которых здесь идёт речь, позаимствовали числительные как полезное новшество у склонного к счёту народа? В конце концов, может быть, даже у неиндоевропейского? Как свои цифры? Вполне возможно, что когда-то «индоевропейцы», несмотря на свою одарённость, ещё не умели считать до трёх, как это и сегодня рассказывают о чикито-индейцах. Да, это не только возможно. Это несомненно, если мы проследим их культурную историю достаточно далеко назад — вплоть до их безчисленного времени.

Таким образом, именно при этих словах ещё важнее, чем при других, указать на то, что и числительные могут быть заимствованы из словарного запаса другого народа и часто заимствовались. Сейчас полагают, что евреи свои удивительно похожие слова для шести и семи (*schesch* и *scheba*) заимствовали у индогерманцев, а слово для восьми — у египтян. Очень часто в наше время наблюдается, что некультурные народности заимствуют свои числительные у европейских пришельцев; когда португальцы были могущественным народом, одно бразильское племя переняло португальские числительные, теперь же в Южных морях их заимствуют из английского словарного запаса. Но нам вовсе не нужно заходить так далеко. В историческое время мы заимствовали слово *Dutzend* (дюжина) из романского языка, а в ещё более позднее время — понятие и слово *Million* (миллион).

Последний пример особенно ясно показывает, почему числительные могли переходить от одного народа к другому. Это явление лучше всего сравнить с миграцией других изобретений и их названий. Ибо счёт — это изобретение человека. Числа в природе не найти, а только отношения, которые человеческий разум делает для себя понятными посредством чисел. Не только как единицы измерения (метр) были изобретены одним народом и затем распространились по всей земле — мы можем представлять себе числа именно так, но прямо-таки как изобретение повозки, например, которая, вероятно, изначально была катком и вплоть до новейших форм экипажей очень часто получала причудливые названия, которые затем вместе с формой повозки переходили через границы народов. И счёт не был изобретён сразу готовым до его сегодняшнего развития. Даже считать до пяти с помощью пальцев одной руки — сколь бы широко это искусство ни было распространено по земле — не все народы выучились сами. Ведь есть такие, что умеют считать только до трёх, и другие, которые не положили в основу своей системы счисления пятёрку. Существует очень остроумное этимологическое предположение, согласно которому «общее для индоевропейских языков» слово для восьми объясняется как 2×4, а именно так, что четыре будто бы означало «одна рука без одного». Никогда не удастся установить, содержит ли эта мысль что-либо правильное. Но она даёт нашему представлению отправную точку. Мы можем понять, каким путём народ, особенно предрасположенный к счёту, мог прийти к образованию числовых понятий за пределами пяти. Пока не было слова для восьми, не было и числа восемь. Мы можем далее вполне хорошо представить себе, как в примитивном торговом общении новые понятия от шести до десяти, как только один народ их образовал, переходили к соседнему народу. Этот переход был необходим, если один народ развил начала десятичной системы, а соседний народ захотел использовать это изобретение для себя. В ещё более раннее время так же могла быть воспринята вместе со словами числовая группа от одного до пяти как новое изобретение, если, например, более культурный народ уже считал на пальцах рук, а менее культурный ещё нет. Так мы видим в Средние века, как многие математические понятия приходят из арабского напрямую или в переводах в Европу, потому

что европейцы, например, познакомились с синусом через арабов. Почему бы подобному процессу не иметь места и в более древнее время, когда изобретение пятеричной системы было по меньшей мере столь же эпохальным, как позднее изобретение тригонометрии?

Таинственные особенности числительных существуют только для математиков, если мы не забываем это обстоятельство. Кто применяет число как число — будь он хоть торговцем селёдкой, сравнивающим свой товар с пфеннигами, — в этот миг является математиком, так же как астроном, вычисляющий с дифференциалами и логарифмами. Он математик по отношению к чикито-индейцам, к безчисленному культурному состоянию «индоевропейцев».

Но затем существует и обратный путь, на котором языковой обиход применяет числительные совершенно нематематически, как общие признаки. Особенно круглые числа охотно употребляются у нас таким образом. Сороконожка (*Tausendfuss*) имеет не 1000 ног, центофолия имеет не 100 листьев. Ещё более странным образом мы приписываем восточным народам: «тысяча и одна ночь»; «год и день» (*Jahr und Tag*), напротив, опять-таки математично, ибо означает минимум.

Мы, взрослые индоевропейцы нашего времени, не столь нематематичны при низших числах. До двух и до трёх мы уже умеем считать, хотя и бессознательно. Это наши маленькие дети употребляют «два» в смысле «много», потому что они ещё не умеют считать до двух — примерно, как чикито-индейцы. Но и у нас низшие порядковые числительные могут превращаться в прилагательные.

Если я на вопрос: «Как вы едете?» — отвечаю «Вторым» или «Третьим?» — я ни в коем случае не думаю о порядковом числительном. Либо я связываю с этим словом представление о цене, либо — обычно — только представление об устройстве; «второй» означает удобство и мягкие сиденья, «третий» означает деревянную скамью. На берлинской городской железной дороге, которая ввела только два класса и на которой, однако, по сходству комфорта говорят о втором и третьем классе, это соотношение ещё поразительнее.

Это замечание кажется мелочным. Но оно важно, если мы на примере, который переживаем сами, ясно erkennen, что переход от числительного к другим категориям возможен и что в древние времена именно так же было возможным заимствование или импорт числительных. Когда были открыты газы, один голландец искусственно создал для них слово; и оно было импортировано во все культурные языки. Но ведь это тоже было открытием или изобретением, когда некий чрезвычайно гениальный математик (муж, достойный памятника, как Ньютон) пришёл к чрезвычайно плодотворной мысли называть «пять» овец — одну овцу больше четырёх овец — «пятью» овцами. Он изобрёл для своего нового мировоззрения новые слова, он считал, он был первым; он считал, может быть, до трёх, до восьми, до двенадцати — кто знает. Он считал, может быть, сначала не овец, а себя и членов своей семьи; хотя (серьёзно!) счёт овец или других единиц собственности мог быть ближе математическому гению, чем счёт детей.

Но если числительные — как новые изобретения — могли так легко переходить от одного народа к другому (как о меланезийцах достоверно сообщают, что они, впрочем, достаточно падки на новшества, чтобы охотно перенимать языковые ошибки европейцев, особенно заимствовали числительные и местоимения у малайцев), то плохо обстоит дело со всеми логическими выводами, которые из родства именно этих слов (и местоимений) должны выводить племенное родство языков. Почти исключительно из сходства числительных пытаются вывести родство семитских языков с так называемыми хамитскими. С таким же успехом можно было бы из наличия пустой сардинной банки в пустыне Сахара заключить, что пустыня некогда произращала сардины.

Если заимствуемость, общечеловеческая пригодность числительного ещё сильнее, чем у других частей речи, то из этого можно было бы заключить, что неопределённость его грамматического смысла меньше, что числительное лучше соответствует действительному миру, чем существительное, прилагательное и глагол. В это тоже верят.

То, что числовое понятие в его общем значении есть лишь пустая абстракция и не принадлежит действительности, что слово «число», например, в вопросе: «Какова численность населения этого города?» — не хочет и не может ничего иного, как направить внимание на то, чтобы искать и найти ответ в цифрах, — это само собой очевидно. Но то, что и отдельные целые числа — 1, 2, 3 и т. д. — не соответствуют действительности, не находятся в природе, а суть лишь изобретения человеческого разума, — это заслуживает ещё более точного рассмотрения, потому что естественные науки в настоящее время, как и два с половиной тысячелетия назад, снова склонны делать число первоэлементом природных явлений. Если бы мы обладали историей человеческого разума, как обладаем историей паровой машины, то, возможно, можно было бы провести поучительное сравнение между сегодняшней и древней верой в числа. Но поскольку мы о предыстории нашего разума знаем не больше, чем пробуждающийся человек о своих сновидческих состояниях во чреве матери, я могу об этом — о том, что Пифагор приписывал числам и что в том же смысле приписывают числам сегодняшние химики — высказывать лишь предположения.

Для этих предположений удачно то, что имя древнего философа связано с чрезвычайно важной пифагорейской теоремой. Эта связь доказывает, что Пифагор либо сам впервые доказал интересное соотношение между сторонами треугольника, либо что именно он познакомил Грецию с этим открытием. Во всяком случае, она показывает, что Пифагор был математиком, прежде чем сделал из чисел своего рода религию. С Пифагором мы явно стоим в эпохе, которая была вне себя от радости по поводу новооткрытых числовых соотношений в математике и геометрии. Мы можем кое-что из этой радости наблюдать сегодня у математически одарённых детей, когда они в школе впервые знакомятся с удивительными соотношениями, в которых находятся, например, делимые числа или гипотенуза и катеты. То, что по сумме цифр можно сразу узнать, делится ли многоразрядное число на 9 или нет, есть следствие соотношения, обоснованного в нашей десятичной системе; открытие этого соотношения тем не менее доставляет удовольствие. Соотношение, выраженное в пифагорейской теореме, может быть следствием привычной нам пространственной системы, данной нам случайными чувствами; его открытие тем не менее должно было вызвать чрезвычайную радость. Было очевидно: в природе существуют числовые соотношения.

Точка зрения тогдашней математики не могла выразить эти соотношения иначе, как через числа. Соотношения казались заключёнными в самих числах. Числа суть слова, по-видимому, слова, как и другие понятийные слова. Так что это было лишь проявлением хорошо известной нам веры в слова, когда в первом опьянении математической радостью открытия числовым словам были приписаны мистические свойства.

К этому добавьте детскую веру в слова мировоззренческих попыток, которые тогда назывались философией. Анаксимандр и Фалес тоже полагали, что думают что-то, когда объявляли бесконечное или воду первоисточником всех вещей. Я сверх того склоняюсь к убеждению, что мы никогда не сможем узнать, что философы до Платона думали при отдельных дошедших от них лозунгах. Представьте себе, что Дарвин никогда не написал ни строчки. Мы узнали бы о нём лишь то, что его ученики второго поколения случайно и ошибочно возводят к нему, и однажды от всего жизненного труда Дарвина не осталось бы ничего, кроме лозунга «человек происходит от обезьяны»; единственное, что мы тогда знали бы о нём, было бы то, чего он никогда не говорил. Критика Ницше в адрес собрания заметок Диогена Лаэртского только филологическая, а потому не радикальная, по существу.

С трудом мы можем из некоторых таких сохранённых лозунгов получить уверенность, что Пифагор учил: 1) числа суть причина действительности, действительные вещи суть лишь подражания или символы чисел; 2) числа выражают лишь отношения к единице, следовательно, единица есть начало или источник всех вещей; 3) поскольку числа старше природы, поскольку они только и создали природу, постольку природу и будущее можно познать только

из элементов, то есть из чисел; числовые гармонии возвещают благоприятный случай (καιρός), святость числа 10, например, ручается за то, что должно быть десять движущихся небесных тел, и т. д.

Вера в святость числа десять вынуждает меня к небольшому отступлению. В этой вере выражается радость по поводу, возможно, новооткрытых красот десятичной системы счисления. Бессознательно сделали 10 основным числом системы и потом удивляются, что она есть основное число. Поскольку я всё же пытаюсь связать эти вопросы с развитием разума, я хотел бы в этом месте прервать исследование и указать на различие между открытием и изобретением в мире чисел. Надеюсь, это будет самое большее обходной путь, но не ложный. Историки десятичной системы счисления, по моему мнению, заблуждаются в том отношении, что повсюду предполагают десятичную систему там, где нецивилизованные народы по естественным причинам научились считать только до десяти или до двадцати. Столь же ошибочно усматривать повсюду остатки двадцатеричной системы там, где, как во французском, 80 выражается через 4 × 20, или следы двенадцатеричной системы там, где кратные 12 образуют первый заключительный этап счёта, как опять же во французском цифра 60 внутри первой сотни является последним регулярно образованным числительным и в слове *six-vingt* находится любопытное выражение для 120. Все эти прелестные примеры, особенно умноженные путешественниками среди индейских племён, кажутся мне лишь признаками того, что десятичная система очень медленно проникала в языковое сознание народов. Полностью последовательно проведённую десятичную систему мы, западные люди, имеем лишь несколько сотен лет; не старше и выражения *Billion*, *Trillion* и т. д. Когда народ делит свой грош или свой шиллинг на двенадцать частей, это может восходить ко времени, когда число двенадцать играло какую-то роль; но о двенадцатеричной системе при этом не может быть и речи. Насколько, например, греки сознательно разработали свою систему счисления в числительных — а именно до цифры 10000, — она была десятичной. Напротив, чем меньше мы знаем историю развития числительных, тем меньше значит то, что уже в греческом, как и во французском, числительное шестьдесят образовано регулярнее, чем числительные для 70, 80 и 90. И в немецком число 60, которое в остальном занимает подчинённое место в десятичной системе, становится круглым числом, как только мы говорим для него *Schock* и считаем по *Schock*. Очевидно, что *Schock* уже на Востоке во многих случаях было круглым числом. В нашем летосчислении с его 2 × 12 часами, 60 минутами и 60 секундами, в нашем делении круга на 6 × 60 градусов ещё присутствуют неустранимые и, по-видимому, неустранимые остатки из времени, когда двенадцать казалось по меньшей мере столь же священным, как десять. Но думать здесь о двенадцатеричной системе так же мало оснований, как о развитой десятеричной. Мы должны установить, как можно отчётливее, что всякий род системы есть изобретение, изобретение для облегчения счёта, тогда как понимание числовых соотношений следует возводить к открытиям. Например, и в последовательно проведённой двенадцатеричной системе число, которое мы называем и пишем 25 и которое в двенадцатеричной системе называлось бы примерно 21, было бы по-прежнему пятикратным от 5, или 5^2; только счёт был бы другим. Мы должны лишь уяснить себе, что люди, если они действительно научились считать на десяти пальцах рук, тем самым ещё не изобрели десятичную систему в том виде, в каком её теперь должен выучить каждый школьник. Но для нас важно лишь то, что она была изобретена. Изобретение никогда не может быть образом действительности. Десятичный счёт не может соответствовать действительности. Мы скоро увидим, может ли счёт вообще, без системы, быть действительным.

Если бы природа, которая заботится о человеческом языке так же мало, как тополь о пифагорейской теореме, с помощью которой мы вычисляем его хозяйственную ценность, — если бы природа развила в человеке по четыре пальца на каждой руке, то у нас была бы восьмеричная система вместо десятичной. Наше шестьдесят четыре называлось бы сто и писалось бы с двумя нулями. Некоторые вечные истины десятичной сущности выглядели бы странно.

Но всё было бы верно, если бы только нули стояли на правильном месте. Так и язык подходил бы к любому другому естественному развитию, если бы только нули были правильны. Ибо глубина языка — это его ничтожность. Нужно признать, что слова стали лишёнными ценности. То, что нам ценно, мы поэтому лучше всего чувствуем без слов. Это не игра слов, это, скорее, чистая тавтология. А не есть В, В не есть А. В настоящей игре слов дух сошёл с ума. Он принимает слова правильно за то, что они есть, за математические функции, но забывает — как только обезумевший математик — их значение в данной задаче, составляет формулу из букв позавчерашнего и сегодняшнего дня и приходит таким образом к совершенно идиотским фразам остроумных писателей. Например, люди — это мысли земли (Бёрне). Столь же бессмысленно, сколь остроумно.

Систему счисления человечества, если бы у людей было по четыре пальца на каждой руке и по четыре пальца на каждой ноге, представляют себе так: считают 1, 2, 3, 4. Четвёрка занимала бы тогда место нашей нынешней пятёрки. Далее 5, 6, 7, 8. Но восьмёрка писалась бы как высшая единица — 10. Поскольку 8 (2 × 4) была бы высшей единицей, то её двойное (16 = 2 × 8) не могло бы быть записано иначе как 20, её тройное (24 = 3 × 8) — иначе как 30, её степень (64 = 8 × 8) — иначе как 100.

Впрочем, при обучении человечества счёту повторяется древний вопрос: как же люди могли научиться говорить, не обладая языком? Если люди уже умели считать до десяти, когда пользовались для этого пальцами, то они не научились счёту на пальцах, и возникновение десятичной системы создаёт новые трудности; если же у них не было понятия числа, то опять-таки непонятно, как именно от созерцания пальцев они пришли к идее счёта.

Ближайший путь выйти из этой дилеммы — это привычное нам представление, что счёт развивался бесконечно медленно, как организмы и их нервы, как человеческая культура, как человеческий разум. На это уже указывалось (ср. т. II, с. 663). Для всех других рядов развития начальная точка, зародыш, не находится. Но начальная точка счёта, по-видимому, была дана в природе, как только человек достигал того, чтобы воспринимать индивидов — людей, животных, растения или камни — как единицы. Если в природе есть единица, то, хотя всё ещё ни одна система счисления не естественна, но счёт вообще — да.

С понятием единицы именно в его абстрактнейшем употреблении творится изрядное злоупотребление; и поскольку в общем языке абстрактное понятие единицы и также окольным путём возникшее понятие единственного числа смешиваются, злоупотребление переходит и в разговорный язык. Связка «есть» означает примерно «есть одно и то же с». Этот смысл охватывает две большие группы, которые можно было бы выразить примерно, как «тождественно с» и «содержится в»; алгебра логики поэтому вынуждена была заменить эту простую связку двойным знаком для обоих значений одинаковости. Знак означает как «есть одно и то же с», так и «содержится в»; но в действительности он означает рядом с этим то полное тождество, то нюансированную одинаковость, то логическое единство под одним общим понятием. Все эти значения единицы содержатся, однако, и в знаменитом предложении А = А, или А А, которое столь прекрасно стоит во главе логики как пустейший символ тавтологии. Из этого предложения тождества, или единства, можно так же мало что-либо вывести, как из одной единицы без первого действительного числа, двойки, можно было бы каким-либо образом породить простейшее вычисление.

Путаница понятия единицы важна для психологии, потому что там охотно говорят о единстве сознания, тогда как лишь единый миг в индивидуальной памяти создаёт единство или создаёт видимость единства, а с другой стороны, говорят о множественности психологических понятий, тогда как в человеческом мышлении явно нет различимой множественности. «Применяемые в философских рассуждениях о духе подразделения могут быть лишь поверхностно правильными. Инстинкт, разум, восприятие, представление, память, воображение, воля и т. д. должны рассматриваться либо лишь как конвенциональные группировки самих связей, либо

как отдельные подразделения деятельностей, служащих установлению связей» (Спенсер, Психология I, с. 404). В этом смысле наше мышление для нас есть единство, как дерево с кроной, стволом и корнями есть для нас единство, на части которого мы можем попеременно направлять внимание, но части которого мы не можем отделить, если они должны оставаться частями целого. В другом смысле мы, однако, не должны говорить о единстве души или сознания, потому что, например, посредством наркотических средств или болезни целые группы могут быть уничтожены, индивидуальный носитель сознания ещё идентифицирует себя с прежним человеком, тогда как объективный наблюдатель видит перед собой другое «я» (ср. также I, 608).

Однако если понятие единицы уже было дано, то мы можем вполне хорошо представить себе, как небольшие множества постепенно охватывались и различались одним взглядом. Так и мы в детстве, прежде чем научились как следует считать, имели тройку в чувстве и в хватке и считали свои бобы по «броскам» (= 3), которые умели схватывать с большой уверенностью. Перенесёмся для нашего удобства в какое-нибудь далеко продвинутое первобытное время, в котором сравнительно очень цивилизованный народ уже умел считать до 4.

Открытием было то, что 4 может возникать двумя различными способами: либо прибавляя три единицы к первой единице, либо составляя две кучки по две. Тем самым было открыто чрезвычайно важное числовое соотношение $2 \times 2 = 4$. Если бы теперь нашёлся языковой гений, который выразил бы число 4 языково как 2×2, подобно тому как мы называем число 20 «двадцать», то есть 2×10, то было бы сделано забавное изобретение, числовой запас был бы сведён к беспомощной двоичной системе. Многочисленные следы в истории числительных указывают на то, что с помощью таких счётных изобретений числовой запас развивался чрезвычайно медленно. Единица как древнейшее число ещё сегодня во многих языках имеет адъективный характер; группа от 1 до 4 указывает на своё возникновение без системы, потому что она во многих случаях склонялась, группа от 1 до 3 в немецком ещё недавно; родственный языковой строй обнаруживают затем последовательно группы от 1 до 5, от 1 до 6, от 1 до 10, от 1 до 12, от 1 до 20, от 1 до 60.

Перейдём теперь большим прыжком от такого седого первобытного времени к времени Пифагора. Математические и геометрические открытия, касавшиеся лишь числовых соотношений, были богато развиты; изобретения в области десятичной системы за этими открытиями не последовали.

Теперь мы уже лучше поймём, как философия в своём детстве могла воспринимать новооткрытые таинственные числовые соотношения как мирообразующие силы. Так я вполне могу представить себе, что тот народ, который умел считать только до 4, когда открыл соотношение $2 \times 2 = 4$, оказывал чётным числам 2 и 4 большее почитание, чем нечётной 3, и приписывал тайну $2 \times 2 = 4$ особой божественной силе. Возможно, мистическая четвёрка тогда должна была также исцелять болезни. В гораздо более богатой и интересной полноте видел Пифагор перед собой новооткрытые математические и геометрические соотношения. Эти соотношения не имели объяснения, они должны были быть причинами самих себя, а раз они стали причинами или силами, им можно было приписать и другие действия. По-видимому, Пифагор имел суеверные представления о действии ребячливо-мистических числовых квадратов. Его много почитаемая главная мысль была, однако: в потоке мира явлений числовые соотношения суть постоянные полюсы, следовательно, числовые соотношения должны быть причинами действительного мира. И поскольку он смешивал соотношения с числами, поскольку он не знал, что в природе в лучшем случае есть соотношения, но нет чисел, постольку он сделал числа, или числовые слова, причинами действительности. Числа трудно сравнивать с какими-либо другими явлениями. И всё же ещё недавно в области магнетизма и электричества было сделано больше открытий, чем изобретений, и потому эти явления были сделаны причинами необъяснённых действительностей. В применении к числам: Пифагор видел ещё гармонии в числовых соотно-

шениях, которые суть лишь корреляты системы. Для нас значим лишь вопрос: действительны ли числовые соотношения без системы, соотношения, получающиеся из простого пересчёта единиц? Знает ли тот (дАламбер, Disc. prél.), кто говорит 2 + 2 = 4, что-либо больше того, кто довольствуется словами: 2 + 2 есть 2 + 2? Не являются ли точно так же геометрические аксиомы лишь различными точками зрения на одно и то же представление? ДАламбер добавляет (и Гёте присвоил это слово): Nous devons, comme lont observé quelques philosophes, bien des erreurs à labus des mots; cest peut-être à ce même abus que nous devons les axiomes.

Ни при одной части речи не кажется столь очевидным, как при числительном, что языковое обозначение соответствует действительному миру. Чем более современное естествознание становилось математическим, чем более оно сводило чувственные впечатления, как звуки и цвета, чем более оно сводило химические явления к числовым соотношениям, тем более кажется, будто учение старого Пифагора должно снова войти в честь: а именно что гармония вселенной, как и гармония музыки, основана на числовых соотношениях. Но что, если «числа» сами по себе уже суть соотношения, так что слово «число» означает соотношение, то есть излишний плеоназм? Тогда взгляд старых и новых пифагорейцев выразился бы ещё яснее: а именно что внутреннейшая сущность мира состоит из чисел, что — выражаясь современно — вещь-в-себе есть число. Я не знаю, высказывалась ли когда-либо эта гипотеза столь сухими словами, но она лежит в основе нашей физики и химии.

В противоположность этому я хотел бы поставить вопрос: представимо ли для нас вообще принимать числа в самих вещах, принимать числа где-либо ещё, кроме как в человеческой голове? Если в моём саду стоят десять грушевых деревьев, то я спрашиваю: где, в конце концов, может находиться число десять, как не в моей голове? Я имею в виду не только то, что грушевые деревья ничего не знают о своей численности, но что число никогда и никоим образом не может иметь дела с их существованием, с причинами и следствиями их существования. Если десять грушевых деревьев всасывают из почвы больше питания и приносят больше плодов, чем пять грушевых деревьев, то это соотношение существует лишь в моей голове; в действительном мире есть только обмен веществ и плодообразование. Число десять не в грушевых деревьях, не в одном из них и не во всех. Оно есть соотношение, с помощью которого я могу удобнее обозреть свой ущерб или пользу.

Но и в физике и химии, где числа имеют совсем иное научное значение, мне кажется непредставимой мысль, что числа действительны. Если определённое число колебаний производит определённый тон или определённый цвет, то, пожалуй, существует соотношение колебаний, отношение ко времени, но не их число. Точно так же как большее число грушевых деревьев даёт иной результат, чем меньшее, так и большее число колебаний даёт иной результат, чем меньшее. И гораздо регулярнее. Но регулярность ничего не доказывает в пользу действительности чисел; если бы рост растений был так же прост, как колебания струны, если бы солнце, влага, ветер, насекомые и т. д. не создавали тысячи осложнений, то и результат грушевых деревьев был бы регулярен сообразно их числу, и число тем не менее не было бы действительным. Столь же непредставимой кажется мне мысль, что действительны числа, в соотношении которых атомы должны соединяться в молекулы. Регулярность может быть ещё точнее, чем в оптике и акустике; действительность этим не доказана. Пусть расположение шести атомов в определённые молекулы так же необходимо, как положения и движения восьми лиц в определённых танцах, — число шесть атомов тем не менее так же мало в действительности, как число восемь танцоров. В отношении танца мне это уступят. Число восемь не в одном из танцоров, ни во всех них, ни в танце, ни в танцевальном зале, а единственно и исключительно в головах. Так и число шесть атомов не в одном из них, ни в молекуле, ни в пространстве, ни во времени, а только в голове химика, который, впрочем, фактически тоже не может себе представить своё число шесть. Химический шестиугольник Кекуле, по признанию, есть образное выражение для

непредставимой действительности, метафора. В физике ещё не опомнились насчёт того, что и числа колебаний могут быть метафорами для процесса, который мы не можем описать.

О действительности мы знаем лишь то, что в ней наряду с другими соотношениями существуют и отношения единиц. Единственно действительные соотношения существовали до чисел, с помощью которых мы их измеряем, как соотношения ещё не измеренных пространств уже существуют. В мире ровно столько же овечьих голов, сколько овечьих сердец; и на каждую овечью голову приходится четыре овечьих ноги. Однако последнее соотношение выражено уже не совсем сообразно природе; природа не умеет считать, не до четырёх. Природа знает только «единицу» и потому никогда не ошибается. К каждому овечьему сердцу она поставляет нужную овечью голову и только потому поставляет от обоих одинаковое число. Но она не знает, сколько есть овечьих голов и сердец. Она не только этого не знает — количества также нет в природе, даже не молчаливо, даже не бессознательно. Числа нет вне человеческой головы. И там число возникло лишь благодаря языку. Ибо менее развитые народы тоже знают лишь отношения единиц, но не числа. Есть «дикие» народности, у которых, например, число угрожающих врагов ещё указывается естественным образом. Поскольку эти люди не научились считать, а опасность, их интересующая, тем не менее находится в отношении к числу врагов, они договариваются со своими союзниками так, как это делает природа, когда должна дать сотне овец сотню голов. Она даёт каждому свою. И она не может ошибиться, потому что не знает числа. Итак, если наша дикая народность перебила врагов, она посылает, например, их отрубленные головы, или правые руки, или их носы своим друзьям; и если врагов было семнадцать, то прибудут семнадцать голов, или рук, или носов. Ни победители, ни их друзья не будут сомневаться в соотношении, хотя для числа семнадцать у них нет ни цифры, ни слова. Точно так же и у врагов число семнадцать не было действительным. А перед боем подвергшиеся нападению пошлют своим друзьям семнадцать камешков или раковин, если нуждаются в помощи. На каждого врага — камешек или раковину.

Если я теперь, как и другим частям речи, отказываю числительному в значении быть языковым выражением категорий действительности, то на основании моего изложения мне могут возразить: число должно непременно точно соответствовать действительности, если даже в его основе лежит лишь отношение единиц (как у овечьих голов и овечьих сердец); ведь в числительных нашего языка до нашего сознания доходит лишь то, что в природе бессознательно, но действительно, как число грушевых деревьев в моём саду. Этому близкому возражению следовало бы, однако, воспрепятствовать уже раньше словами: речь идёт не только о том, что сами грушевые деревья не знают своей численности. Снова мы пришли к пункту, где изложение нашей мысли терпит крушение на границах языка. Поскольку действие силы мы не можем выразить иначе, как через числа, постольку мы переносим число также и в бессознательные вещи. Мы говорим: хорошо, сознание числа десять грушевых деревьев может быть только в моей голове; но то, что соответствует этому числу десять в действительности, тоже есть в природе, ей бессознательно, — та же самая численность. Нет, отвечаю я; уже неопределённое понятие численности имеет языковой характер.

Природа не считает ни сознательно, ни бессознательно. Можно уступить лишь настолько, что tertium comparationis между числовой метафорой и силами действительности, что точка сравнения между ними, которую мы не знаем, выбрана лучше, чем, например, точка сравнения между частью речи существительным и категорией действительности вещи. К этому предположению мы приходим потому, что математические операции с числами не так легко ведут к бессмысленности, как логические операции с другими частями речи. Правда, это может происходить оттого, что другие слова суть плохие образы воспоминаний о действительности, числительные же совершенно недействительны, единственно и исключительно хорошие образы самих себя. Но история числительных всё же обратит наше внимание на некоторые нарушения в метафоре этой части речи.

Прежде всего мы не должны забывать, что наши числительные, вероятней всего, возникли точно так же, как дикари считали своих врагов, как хозяин отмечает число выпитых кружек штрихами, как на игральных костях и картах цифры указываются числом знаков или точек. Правда, картёжник не пересчитывает, показывает ли карта в его руке восемь или десять червей. Привычка привела его взгляд к тому, что он сразу узнаёт образ восьмёрки или десятки, как если бы это была цифра. Расположение есть образ, есть письменный язык. Так и наши числительные суть образы, которые мы благодаря тысячелетиям так привыкли применять, что думаем, будто считаем. В действительности же за ними скрывается сравнение единиц, а не счёт.

Один путешественник сообщает, как гренландцы облегчают понимание своих числительных тем, что привлекают на помощь руки и ноги. На руках дважды по пяти пальцев, на ногах столько же пальцев; «целый человек» своими четырьмя конечностями доходит, таким образом, до образа для двадцати единиц. Гренландцы при разговоре показывают пальцы рук и ног, каждый из которых имеет своё определённое имя и соответствует числительному. То, что сверх двадцати, кажется им неясной высокой цифрой. Но сто они могут выразить образом «пять человек». То, что у гренландцев выглядит как некультурность, встречается и в более поздней поэзии индийцев. Там есть дидактические поэмы V века по Р. Х., в которых употребляются символические числительные. Ничего, что символы покоятся на ложных наблюдениях. Если перевести примеры в наше мышление, то число 4 могло бы называться также «луной», потому что она показывает четыре различные фазы, число 5 — «яблоневый цвет», потому что он содержит пять листьев, и т. д. Едва ли может быть сомнение, что низшие числовые имена возникли на этом пути. В какие древние времена восходит это языковое творчество, покоится ли сходство низших числительных (при *tausend*, *mille*, *χίλιοι* сходство, как известно, прекращается) на так называемом родстве или на заимствовании — об этом уже говорилось. Мы можем лишь предположить, что в доисторическое время значение этих слов уже дифференцировалось, что, например, «рука» (с изменением звука или без него) означала в частности пять, и так возникла новая часть речи — числительное. Я повторяю, однако, что этим действительность числа не доказана, что мы не обязаны верить, будто в то время людям априори предносилось понятие числа. Ведь мы воображаем и то, что нашим категориям существительного и глагола соответствует каждая категория действительности. Несомненно, уже учёные доисторического времени — учёные, знания которых, вероятно, были ниже знаний наших десятилетних деревенских мальчишек, — внесли порядок в отношение единиц между числительными и вещами. Несомненно, доисторические учёные создали основу нашей десятичной системы. Но образы чисел от 1 до 20 они, вероятно, уже застали. Как курьёз добавлю, что эта метафорическая основа десятичной системы в несколько изменённом виде встречается и в других местах. Так, Стэнли упоминает четыре негритянских языка, которые исходят не от двух рук, а лишь от одной руки, то есть обладают пятеричной системой. Они, следовательно, считают от одного до пяти, как мы от одного до десяти, и обозначают восемь, девять, как мы тринадцать, четырнадцать. В одном из этих языков 1 называется *ben*, 2 — *yar*, 5 — *gurum*; 6, следовательно, называется *gurum ben*, 7 — *gurum yar* и т. д. Подобным образом ацтеки, «коренные жители» Мексики, имели прекрасно развитую двадцатеричную систему. 93 произносилось как 4 × 20 + 13. Французское *quatre-vingt-treize* точно соответствует этому ацтекскому выражению; и основное число 20 соответствует психологии гренландцев, для которых «целый человек» с двумя руками и двумя ногами есть метафора для 20. В психологию же новозеландцев, у которых основное число 11, и одного южноамериканского индейского племени, которое берёт основным числом 2 (?), мы, конечно, уже не можем вдуматься. Для различия систем счисления, с одной стороны, и — я хотел бы сказать — синтаксического обозначения чисел, с другой, очень поучительна следующая таблица, которую я заимствую из исследования Германа Шуберта. Число 18, например, образуется по меньшей мере десятью различными способами.

Немецкий . . . 8, 10 (achtzehn) Французский . . 10, 8 (dix-huit) Латинский . . 10 + 8 (decem et octo) или . . 20 2 (duodeviginti) Греческий . . 8 + 10 Бретонский . . 3 × 6 Валлийский . . 2 × 9 Ацтекский . . 15 + 3 Новозеландский . 11 + 7 Афё . . . 12 + 6.

Эта таблица касается только языкового выражения и потому сама по себе ничего не доказывает в пользу моего утверждения, что мы в глубоких основах нашего мозга не считаем вещи, а лишь представляем образы отношений единиц. Но если мы примем во внимание, что при этом производимые математические операции сложения, вычитания и умножения не собственно взяты из природы, а суть лишь ставшие для нас второй привычкой сокращения и удобства обзора, что эти математические основные понятия суть метафоры для совершенно иных процессов, то мы, возможно, несколько легче свыкнемся с мыслью, что и основные числа 5, 10 и 20 не сосчитали вещи, а в метафорах рука, палец, человек содержат в высшей степени примитивные сообщения, какие можно предполагать и у ещё не считающего народа. Тот факт, что этим образам нечто соответствует, очень отраден и удобен для нас. Но почему мы можем вычислять с помощью этих чисел и цифр — этого мы знаем ещё меньше, чем основание некоторых неожиданностей в мистических числовых квадратах и подобных забавах.

Затем: если бы в действительности существовала та же категория числа, что и в нашем языке, то наш метод счисления, поскольку он открыл бы тайну действительного мира, должен был бы называться открытием. Инстинктивно мы говорим здесь, однако, об изобретении. Обозначение «изобретение» относится, однако, не только к нашей десятичной системе счисления; нельзя, следовательно, думать, что только случайная система была изобретением, а вычисление — открытием. И алгебра, подходящая к любой системе счисления, есть лишь изобретение, а не открытие. В этой связи уже не трудно будет понять, что и остальные части речи нашего языка суть изобретения, изобретения во всяком смысле слова. Если бы старая таблица категорий, которая со времён Аристотеля тащилась до наших дней, имела более глубокое значение, то соответствующие ей части речи тоже пришлось бы назвать открытиями людей, что для моего языкового чувства имело бы нечто несказанно смехотворное. Римская запись чисел, которая, подобно китайской (столь же непоследовательно), покоилась на сложении числовых знаков, была уже милым изобретением. Улучшением изобретения было то, что на счётных досках греков и римлян (*abacus*) позиционное значение отдельных цифр облегчало сложение. Есть ещё сегодня славянские народы, которые пользуются счётной доской. Новым улучшением изобретения, эпохальным улучшением было то, что индийцы полторы тысячи лет назад изобрели нуль, который они весьма остроумно назвали *çûnya*, «пустое». (Слово пришло через Аравию к нам и превратилось там и сям в *zero*, *Ziffer* и *chiffre*.) Этим искусство счёта было очень упрощено, и когда в XIII веке вооружённые нулём алгоритмики, ученики арабов, победили абацистов, учеников римлян, было изобретено наше нынешнее искусство счёта, примерно, как паровая машина была окончательно изобретена автоматическим регулятором. Так всё есть изобретение, что сделало удобным употребление основных чисел. Как мало логарифмы где-либо существуют в действительном мире и как мало их изобретение было открытием, так же мало считает природа. И основные числа суть групповые образы отношений единиц. Числа суть образы соотношений, но не так, как понятия суть образы других сравнённых представлений. Числа не суть понятия (I, с. 189 и сл.). Числа суть непосредственные знаки (оставляя в стороне вопрос, действительно ли арабские цифры 1–5 объясняются из 1–5 штрихов или нет); они суть непосредственный письменный язык. Мы читаем их, как китаец свою письменность; мы читаем цифры, большие наверняка, во французской книге по-немецки.

О древности наших основных числительных говорит то, что мы их как понятийные слова, то есть как конкретные метафоры вроде рука, нога и т. д., уже не можем проследить, так же мало, как можем с уверенностью этимологически определить неправильные числительные *Schock*, *Mandel*, *Stiege* и подобные. Но вполне возможно представить себе первобытное время, в котором числозиобретающий народ довёл дело до 3, но дальше не пошёл, или даже только

до 2, так что 3 уже было общим множественным числом, как для гренландца то, что сверх 20. Тогда нам надо мыслить возникновение обозначения численности наших существительных и глаголов в это время. Кажется, ещё никто не удивлялся тому, что эти в остальном столь совершенно различные части речи обе могут обозначать число, что, однако, по нашей психологии естественно только для существительного. Но что, если в то первобытное время существительное и глагол ещё вовсе не были разделены, но зато при каждой вещи и при каждом действии важности было уже то, имеется ли вещь или действие однажды, дважды или много раз, то есть трижды? Как если бы во всех таких случаях обозначались единственное, двойственное или множественное число и по аналогии эти формы были бы перенесены на все существительные и глаголы? Как если бы люди того первобытного времени при этом примитивном сравнении отношений единиц так мало думали о счёте, что принимали отношение этих трёх чисел за местоименное отношение и приравнивали 1 к «я», 2 к «ты» (*dva*), 3 к «он»? К чему я сейчас же вернусь.

Если эта мысль имеет в себе хотя бы тень сходства с истиной, то она должна нас научить: что понятие числа не всегда было свойственно людям, что прошли чрезвычайно большие промежутки времени, прежде чем человек научился сравнивать хотя бы низшие группы единиц, что, следовательно, может быть, лишь унаследованная привычка оперировать этой частью речи, числительными, соблазняет нас вкладывать категорию числа в саму действительность. Добавлю маленькое замечание, что так называемые неопределённые числительные с неопределёнными местоимениями (например, *etwas*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.